



Вячеслав ОВСЯННИКОВ

# ТОТ ДЕНЬ

Вячеслав Овсянников

**Тот день. Книга прозы**

Издательско-Торговый Дом "СКИФИЯ"

2015

УДК 882  
ББК 84 (2Рос=Рус)

**Овсянников В.**

Тот день. Книга прозы / В. Овсянников — Издательско-Торговый Дом "СКИФИЯ", 2015

ISBN 978-5-00025-062-4

Вячеслав Овсянников – не бытовой беллетрист, а, скорее, мифолог и писатель склада Андрея Белого. Хотя в интереснейших реальных деталях его прозы много правды, нельзя принимать весь этот страшный будничный быт за полностью достоверные копии. Это – сгустки абсурда, гротеска, метафор, которыми оперирует автор. «Тот день» Вячеслава Овсянникова воспроизводит не готовое действие, а готовящееся, и чувство, растущее. Чувственную силу письма он обогащает «звукописью». Объектом его звуковой картины становится момент из жизни – природы, человека. Больше того, художественное изображение предчувствия ему интереснее, чем изображение чувства. Он ведет – от чего-то зыбкого, мельчайшего, от момента – к целому.

УДК 882  
ББК 84 (2Рос=Рус)

ISBN 978-5-00025-062-4

© Овсянников В., 2015  
© Издательско-Торговый Дом  
"СКИФИЯ", 2015

## Содержание

Тема и метафоры	6
День в пространстве языка	7
Страдания сержанта быкова	9
Вторая бутылка	23
Родина – мать	27
Ева	32
Исполнение служебного долга	35
Покушайте в ресторане	38
Омрачение	40
Одна ночь	42
Человекопад	50
Циркуляр № 12	55
Где Кириллов?	57
Зверь Апокалипсиса	63
Семьдесят семь на Марата	65
Солдаты в лесу	66
Поиски	73
Завтра в море	79
Об отце	88
Женитьба дяди	90
Последняя капля	93
Железный	96
Центр	97
Суббота	98
День флота	99
Майор	100
Жалейка	102
Лестница	104
Пистолет	105
Загинайло	111
Конец ознакомительного фрагмента.	120

***Вячеслав Овсянников***  
**Тот день. Книга прозы**

Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»



## Тема и метафоры *Виктор Соснора*

Вячеслав Овсянников окончил знаменитое Макаровское училище, плавал по морям-океанам, теперь офицер милиции. Пока плавал – писал стихи, теперь пишет прозу.

Такое вступление, наверное, настроит читателя на романтический лад и от книги будут ждать невероятных приключений или сражений с преступниками, – героики милицейских будней. Ничего этого здесь нет. Автор – человек неординарный и не вписывается в литературную «милицейскую форму» в традиционном представлении. Он – не бытовой беллетрист, а, скорее, мифолог и писатель склада Андрея Белого. Милиция для него лишь среда, его герои живут более по литературным законам, нежели реальным. Милицейская тема для Вячеслава Овсянникова – не удобное зеркало для «отображения действительности», а благоприятный материал для гротескного осмысления жизни. Хотя в интереснейших реальных деталях его прозы много правды, нельзя принимать весь этот страшный будничныи быт за полностью достоверные копии. Это – сгустки абсурда, гротеска, метафор, которыми оперирует автор.

Вячеслав Овсянников – новый голос в современной петербургской прозе. И этот голос своеобразен и чрезвычайно актуален.

## День в пространстве языка

### Александр Медведев

*Значительность поэта лучше всего узнается по тому, о чем он умалчивает, чтобы даже молча сказать нам то, чего нельзя высказать словами.*

*Рихард Вагнер*

Повествование дает нечто готовое, во всяком случае, выявляет отношение автора к чему-то произошедшему. Повествование – свидетельство случившегося, однако оно часто неубедительно в показе происходящего. Ведь человек действует и только потом рефлексировать, никак не одновременно, если, конечно, человек здоров.

«Тот день» Вячеслава Овсянникова воспроизводит не готовое действие, а готовящееся, и чувство, растущее. Писатель подчеркнуто обращается к чувству, не к фантазии. Чувственную силу письма он обогащает «звукописью». Объектом его звуковой картины становится *момент из жизни* – природы, человека. Больше того, художественное изображение *предчувствия* ему интереснее, чем изображение *чувства*. Он делится этим глубоко личным восприятием, одновременно делает нас свидетелями создания художественного произведения. Ведет – от чего-то зыбкого, мельчайшего, от момента – к целому.

Предчувствие – проявление невысказанного и невыразимого для слов. Нельзя выразить то, что не определено соответствующим предметом. Сделать предчувствие главным объектом внимания, главным героем произведения, значит, устремиться к поиску его точного определения – дать предмету слово. Но, как это сделать, если наше время настойчиво лишает «слова и вещи» непосредственного сходства? Овсянников уповает на скрытую способность языка выводить слова за рамки пространства привычных представлений. «Язык до Киева доведет», – здесь ведь только доля шутки, язык, если ему полностью доверить талант, доведет его до способности поведать о чем-то большем, нежели чувства?

Для поэта, мастера слова, вполне овладеть предчувствием, дать ему словесное выражение, одновременно и заманчиво, и, кажется, невозможно. Чувство, неоформленное словом, само спешит обратиться к рассудку, укрепиться в мысли. Позволить ему сделать это, означает низвести поэзию к содержанию идеи, выйти из сферы художественного. Как соблюсти баланс словесного выражения чувств, не впадая в небрежно скрытую поверхностность метафоры – банального перенесения признаков одного явления на другой? Овсянников – ничто человеческое ему не чуждо – уступает рассудку в ущерб предчувствию, но лишь единожды, давая название произведению. Чувство воспринимает наглядное, предчувствие – незримое, в конце концов, на помощь приходит мысль, она постигает то, чего нет налицо.

Вячеслав Овсянников предлагает взглянуть на непредсказуемый и в то же время фатально изменяющийся мир, льющийся в форму «Того дня», мир, расплавленный Провидением-литейщиком и его подмастерьем художником.





## Страдания сержанта быкова

...Проснись, Быков! Да проснись же ты, Алкоголь Горыныч!.. Проснулся, схватил трубку, сердце гремит. В трубке тихий голос Веры: Митя, приезжай скорей!.. Гудки...

Улица длинным темнеющим конусом. Киоск, афиша, фонарь. Быков летит в милицеском газике, крутит баранку. В зеркальце небритый, угрюмый, с гербом на лбу, на плече сержантская лычка. Это я, – догадывается Быков. Бесшумно летит по освещенным безлюдным улицам. Мебель. Фарфор. Фото. Аптека. Салон причесок. Часы «Космос». Фонари редуют. Окраина. Новый район. Машина блуждает в темноте двумя дымными лучами. Ямы, горы, кубы, барабаны, изогнутые железяки из земли. Небоскребы. Окна спят. Только озарен прожектором строящийся дом, кладут кирпичи, стучит что-то металлическое, брызжет звездочками электросварка, шевелится зигзагообразный кран. Этажи, этажи, в стеклах мрачность. Дверь парадной стукнула, кто-то вошел в жемчужном плаще. Быков следом. Раскрылась перламутровая кабина лифта. Сбоку черные кнопки. Быков кричит: Вера!.. Вера стоит, смотрит. Взор Веры – зима, Сибирь, он – уголовник в тайге, тонет в этом суровом взоре, шевелятся дремучие ресницы.

– Вам на какой этаж? – Она.

– Вера, это же я! – Он.

Вера презрительно ежится. Перст с розовым острым ногтем жмет кнопку. Ее профиль – будто из кино. Лебеди, ноктюрны... – думает Быков. Память распевает мелодии ее фраз: Я без тебя скучала. Что ты сегодня принес? Ах, я так люблю ландыши!..

Быков говорит:

– Вера! Что же ты ничего не помнишь? Сама сейчас звонила, звала – приезжай!..

– Что за нелепые фантазии, – отвечает Вера. – Вы пьяны, сержант. Я не имею удовольствия быть с Вами знакомой. Или у Вас в кармане ордер на мой арест?

Быков пялит глаза:

– На каком это мы этаже? На сотом?

Рот у нее в вишневой помаде, говорит:

– Ну, хорошо. Идем.

Квартира. Гвалт, визг, разливается молодецкая русская песня «По Дону гуляет казак молодой».

– Новый год? День рождения? Новоселье?

Вера сердится, морщина между бровей:

– Тебе что, совсем уже уголовники память отшибли?

Быков видит: голова Веры в гипюровых кружевах, из-под жемчужного плаща белое до пят платье. Невеста?..

В квартире музыка, толкотня, ералаш. Стол – горы яств, вина всех сортов, цветы. Из кухни бегут с дымящимся китом на блюде. Грянули: А! Вот и они! Ох, страшно, товарищ сержант. Кривляясь, козыряют ему «честь». Какую гражданочку зацепил. Ай, да сержант. Знай наших... Тянут, сажаят во главе стола. Там уже рядом с Верой его друг-приятель, пунцово-мордый Чапура, тоже в полной амуниции, с погонами милицейского старшины. Чапура невозмутим. Его широкая грудь так вся и сверкает в чешуе медалей и орденов. На брови надвинута громадная фуражка с глянцевым вороненным козырьком. Быков подсаживается. Вера между ними, представляет их всему застолью:

– Мой муж Миша, мой муж Митя.

– Горько! – ревет стол.

– Миша, Митя, ну, что же вы, мужчины! – улыбается Вера.

– Ну, пора и бай-бай, новобрачные, – нежно мурлычет она и ведет обоих мужей за руки в спальню.

Там гигантская кровать, подушки-пуховики, откинута атласное розовое одеяло, простыня – сама белоснежность. На столике серебристая головка шампанского и благоухающие сладким соком, нарезанные кружки ананаса.

На ложе трое: у стены с персидским ковром возлежит Чапура, в мундире, в португальском сапогах. На брови все так же надвинута громадная фуражка с глянцевым козырьком. Быков примостился на другом краю постели. Между ними – Вера в кружевном пеньюаре.

Вера задирает косматую медвежью лапу, шевелит когтями с малиновым педикюром:

– Потрясающая у меня ножка, а, мальчики?

– Это уж слишком – ревет Быков. – Вера, ты от меня требуешь невозможного! Я не люблю сообщников! – И он выхватывает сбоку пистолет и стреляет в наглую ухмылку пунцовомордого Чапуры.

Спальня проваливается. Чудовище любви о трех головах исчезает в призрачном дыме...

Тусклый, свисающий с потолка тюльпан источает будничное сияние. Стол, стакан. Быков на кровати, в форме, в сапогах. Так я спал! Тоска!.. Огромный черный квадрат окна. Смотрит на часы у себя на руке: 7.00. Ум Быкова мрачно жует тупую и вязкую, как смола, мысль. Эх, животное! У другой стенки Чапура сотрясает комнату паровозным храпом.

В коридоре грохают двери, стучат каблуки, раздается бодрый утренний гам. Общежитие просыпается.

Окно – ночной экран утра, зажигаются квадратики этажей. Город, октябрь, понедельник.

Комната – замусоренная коробка. Шкаф с полуоторванной дверцей. Стул. На стенах фотографии едва прикрытых девиц. Еще – маска из черного дерева. Изображает африканку с толстыми оттопыренными губами. Смотрит на него, Быкова, усмехается. Это Чапура сцапал штурмана из дальнего плавания, укачавшегося у самых ворот порта с чемоданом. Тот и откупился сувениром. Такая страхолюдина теперь у них в комнате на стене. Хранительница их холостяцкого очага.

– Чапура, змей, вставай! – кричит Быков. – Восьмой час. Взводный нас с потрохами сожрет.

Шинель, ремень, сапоги, и вон в коридор, на лестничную площадку. Лифта нема. Топают по ступеням. Дворничиха – фуфайка, звяк ведром, здрасте. Дома построены лабиринтом. Лузи-моря, ямы-пропасти, бурые горы глины. Тут круглый год роют траншеи, откапывают трубы и опять закапывают. На пустынной площади гигантский куб из стекла и железобетона – кинотеатр «Коммуна». На афише аршинными буквами фильм: «Фараон». Садик, голые сучья. Вороны летят в рассветающем воздухе, рваные бродяги, кричат: ах, мы, вороны, бедные мы, беспаспортные!.. Улица в автобусах, автомобилях. Тут и большое голубоватое «М». Вход в метро. Толпы по ступеням валятся под землю. Под землей вагон, электрояркий, набит людской сельдью, рты-носы дышат, сопят. Рывок, начинается движение. За стеклом с гулом проносится туннель, чрево тьмы, бесконечная полость. Шатнуло. Остановка в туннеле. Тишина. Шепчутся. Звуки нестерпимо громкие. Сошли с графика. В лоб встречный поезд, вдрызг, в месиво, в кровь, в грязь... Меж голов на Быкова смотрит девушка, безумие в очках, рот разъезжается, как пунцовая рана. Подохнуть в этой закупоренной людской банке под землей, под городом?.. Страшно и думать. Хочется стрелять. Ох, как стрелять хочется. Револьвера нет. Нервы. Рывок. Движение продолжается. Наконец-то и выход. Воздух.

Быков и Чапура топают дальше. Обводный канал. Стоят строем кирпичные корпуса заводов, чадят трубы. Ревут, проносясь, грузовозы с шлейфами черного дыма. Вдали, над каналом, клубится мрачная картофелина восходящего солнца. Об асфальт взорвалось яйцо, тухлая граната, забрызгала сапог. Окна-бельма, кто их поймет. – У, попадись мне только – хайлом сапог вычищу! – рычит этажам Чапура.

Проспект звенит трамваем. Шатается с утра-пораньше похмельная личность, шипит невыбитым зубом: менты...

Скучный, обыкновенный дом, этажи. Милиция. Ведомство охраны. Дверь с пружиной.

Коридор длинный, как кишка, таблички кабинетов, часы-табло: 7.30. Лозунги, стенгазеты, плакаты, доски почета с портретами лучших милиционеров, бухгалтерия, отдел кадров, зал заседаний, дежурная комната. В комнате дежурный сержант Жиганов с красной повязкой на рукаве, стол, телефон. Жиганов хмур, выдает заступающим в наряд пистолеты.

– Что как лом проглотил? – говорит ему Чапура.

Конец коридора, курилка. Сержанты и старшины. Клубы табака, щетка машется, зеркала сапог, крутится ус. «Козлы» с оглушающим грохотом зашибают вечные косточки домино. Орут: рыба!

Чапура уже в центре курильщиков. Багровый, как помидор. Усы веником. Треплет языком, уши лопаются от его громяющего баса. Щеголь же он, мундир в блестящей чешуе значков, пестрая планка орденов и медалей, сапоги на высоких каблуках. Женщины мрут от Чапуры, как мухи. Чапуре еще и сорока нет, как говорится, в самом соку, мастер самбо, стрелок высшего класса. Любит порассказать о своих подвигах, такое загнет – веришь и не веришь. Всем дает в долг, без отказа. Деньги у него всегда водятся, кошелек полнехонек.

Большой палец у Чапуры оттопырен, тычет желтым прокуренным ногтем:

– Вешай лапшу на уши, сынок, что я, первый год в милиции? Он сам Жиганову в три ночи телефонит: я сейчас убил Цветкова. Этого Лупенко я знаю, как облупленного, мы с ним Волково кладбище охраняли. Чуть наш Анчар зарычит, этот Лупенко хватает из кобуры «пушку», пуля в дуле, и летит, псих психом, буркалы из орбит. Я – рапорт: с этим Залупенко дежурить – наотрез, мне еще житуха мила, а по нему давно психи плачут. Цветков ночью обход делал, посты, как всегда проверял. Чего уж у них с Лупенко там вышло, может, бабенку не поделили, а, может, и так, сдуру, – только зафугасил в Цветкова этот двинутый, в самую десятку, тот и пикнуть не успел.

– Вот тебе и лютики-незабудки! – сказал сержант Чубарь и сдвинул свой картуз с гербом на затылок.

– Орлы, время! – кричит в дверь курилки командир взвода лейтенант Тищенко с выпученными очками.

Идут в комнату, где производится инструктаж наряда. Взвод с грохотом садится за столы-парты. За столом командиров отделений пустует одно место. Вот тебе и лютики-незабудки, Витя Цветков.

8.00. На стене суровый Дзержинский с бородкой-клинышком, указы правительства, выписки из указов и кодексов, красочный чертеж пистолета системы Макарова. Командир взвода Тищенко встает за трибуну, раскрывает толстую, как библия, книгу в черной обложке, читает информацию о преступлениях. Взвод пишет в свои служебные книжки:

Фрунзенский район, убийство в квартире пенсионерки Мурашкиной, 70 лет. Жертву ударили молотком по голове. Похищены хрустальные вазы, фарфор, цепочки из золота, перстни, серьги, деньги. Японский магнитофон «Сони». Приметы преступника: 20–25 лет. Рост 170–180 см. Лицо белое круглое приятное. Губы толстые, шепелявит. Ноги короткие, кривые. Был одет в грязную замасленную фуфайку. Представился сантехником. В руке держал чемоданчик с инструментами.

Разыскивается дезертир Магамедов Зиммудин Магаметович. 20 лет. Рост 195. Атлетического сложения. Лицо азиатского типа, глаза карие, волосы черные, стриженные. Одет в армейский бушлат. При себе имеет автомат Калашникова и 300 патронов.

Выборгский район. Пропала Маша Гаврилова, 12 лет. Нос в веснушках. Портфель школьный, вишневого цвета.

Разыскивается мошенница Лисицина Ольга Павловна. Полная. 50 лет. Волосы светло-рыжие, парик. На подбородке шрам. Щурит глаза. Разыскивается рецидивист по кличке Шмак. На левом веке бородавка. На груди татуировка: нож, обвитый змеей. Украинский акцент. Лицо ромбовидное. Нападение на инкассатора, 47 тысяч рублей. Обнаружен труп молодой женщины в реке Карповке. Грузинский акцент. Левый глаз смотрит вверх. Лицо квадратное. Угнан «Москвич-408», номер 18–13 ЛЕЗ, желтого цвета. Шапочка-петушок. Разыскивается пропавший без вести милиционер Бураков. Сбыт фальшивых купюр. Татуировка: «нет в жизни счастья». Побег умалишенных. Кража икон из Русского музея. Лицо небритое треугольное. Латышский акцент. Разбойное нападение на квартиру. Побег осужденных. Плотный казах ограбил такси. Изнасилование несовершеннолетней. Татуировки: череп, роза, русалка. Гулбис Раймонд, стройный, глаза навывкате, голубые. Мужеложество. Брюки-бананы. Лысина в свежих царапинах. Изнасилование пятилетней девочки. Три кавказца. Жигули желтые. Расчлененный труп в новогоднем мешке...

Лейтенант Тищенко захлопнул книгу, как выстрелил. Смотрит сурово:

– Орлы! Вчера ночью убит наповал сержант Цветков. Погиб наш прекрасный боевой товарищ. Остались без отца два несмышленишка. Такое горе. Приедут со Смоленщины отец и мать – что старикам скажешь?.. Лупенко будут судить по всей строгости советских законов. Сейчас он в спецбольнице под стражей, проверяют его психонормальность. Парторганы полка предлагают собрать деньги по кругу – проводить в последний путь Витю Цветкова, нашего дорогого товарища. Эх, орлы!..

– Теперь! Сами знаете; особое положение. Работа без передыху. Близится Великий Октябрь. Большая революционная годовщина, праздник всей советской страны. А в городе, орлы мои, растет небывалая волна убийств, грабежей, насилий. Преступный мир поднял свою змеиную голову. И это стихийное бедствие, орлы мои, похуже любого наводнения, которыми так знаменит наш город-герой на Неве. Все! Показать удостоверения личности!

Взвод поднимает малиновые корочки с золотыми буквами: ГУВД (Главное управление внутренних дел).

– Убрать! Орлы! В коридор! Стройся! Быстро! Булатов!..

В коридоре шеренга.

– Вправо. Заправься. Ровный носки. Строй, как бык посс...л. Булатов, опять у тебя сапоги в дерьме! Где ты шатаешься по помойкам? Ох, уж мне этот Булатов! Как нож в горле.

Из кабинета выходит замполит Шептало, майор, высокий, тощий, уши-локаторы.

Тищенко кричит:

– Взвод! Смирно!

Шептало вскрикивает:

– Здравствуйте, товарищи!

Взвод набирает в грудь воздуха и лает:

– Здрав тов мер...

– Вольно! Товарищи! – начинает Шептало, – прискорбное событие, миленькие мои. Погиб наш прекрасный боевой товарищ, сержант Цветков. Погиб не в борьбе с преступниками, не в опасной операции, не при отражении нападения на объект государственной важности. Пал он нелепой смертью, во цвете лет, от руки своего же товарища, миленькие мои. Лупенко будут судить по всей строгости советских законов. Сейчас он в нашей спецбольнице, проверяют у Лупенко его психонормальность. Всем вам жестокий урок, миленькие мои...

Замполит двигает ртом, поднимает в потолок длинный, поросший черным волосом указательный палец, покачивается на каблуках, ходит перед строем туда-сюда.

– Заткнул бы ты свой рупор, – шипит сержант Булатов.

Наконец, Шептало уходит. Тищенко, вздернув очки, командует:

– Взвод! Смирно! Приказываю приступить к охране общественного порядка в городе-герое Ленинграде, строго соблюдать соцза-конность и вежливое обращение с гражданами. Направо! По постам! Шагом марш!

– На опохмелку, – добавляет в конце строя коренастый красноносый Булатов.

Тищенко грозит ему пальцем:

– Булатов, шкуру спущу!

Невский. 8.40. Быков и Чапура едут в автобусе. Надо на пост – охранять стратегический объект. А именно – мост.

Толпы в общественном транспорте валят по Невскому – служить, трудиться, работать, трубить, вкалывать, вламывать, зашибать рубль, корпеть, мозговать, крутиться шестеркой и прочее, и так далее... Город готовится к великому празднику. Высоко в небе висят большие кумачовые плакаты с ликом Вождя и лозунгами:

*Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи.*

*Имя вождя озаряет нам путь к коммунизму.*

Лозунгов над городом с каждым днем все больше и больше. Закрывают все небо, небо становится кумачовым, пламенеющим, расписанным призывами в светлое будущее. Чапура всю дорогу болтает о бабах, крутит ус-веник, масляно усмехается. Памятник царя Николая на площади забит досками, ремонтируется, только торчит шлем с позеленелым гребнем. Ничего – скоро царь будет как новенький. На столбах трепещут флаги с полумесяцем. Город ждет в гости каких-то арапов. Бульвар Профсоюзов, площадь Труда, Дворец Труда. Мост лейтенанта Шмидта. Быков и Чапура подходят к будке на середине моста, с краю у проезжей части. В будке сержант Схватик и сержант Ловейко, с красными глазами, как удавы, зевают. У Схватика на лбу заметное вздутие.

– Ну, как ночка?

– Да как. Трех виннипухов загребли, – отвечает Ловейко, один – морда шире моста. Вызвали по рации хмелеуборочную, пихаем в фургон, а он развернулся, да как звезданет Схватика промеж рог. Так Схватик чуть в Неву не улетел. – Ловейко гогочет.

Схватик хмуро трогает на лбу большую, как яблоко, шишку. Потом Ловейко и Схватик, сдав пост, уходят. А у Быкова с Чапурой начинается труд охраны важного государственного объекта.

Нева. Хлопья чаек. Мчится через мост грузовоз с ворохом железной стружки с завода. Из кузова сыпятся с лязгом и разбегаются по асфальту спиралевидные фиолетовые змейки. Чапура останавливает машину своим полосатым жезлом-зеброй. Высовывается испуганное с отвисшей челюстью лицо шофера.

– Ну, что, – говорит, Чапура, – друг стружечник, – мусорим понемножку в городе-герое?

Ветер с залива обещает бурю и наводнение. Панорама реки быстро темнеет. Краны Адмиралтейского завода, слева, призрачны. Васькин остров справа, сфинксы едва различимы. Вспыхнули голубым, лиловым, сиреневым фонари-ландыши. Накаляются. Стали блестяще-белые. Нева ходит волнами, морщится. Холодно.

Быков и Чапура прячутся от ветра в будку. Чапура достает стакан, согреться ему, видите ли, надо. Быков отказывается, зарок, говорит, дал. Чапура опрокидывает стакан в горло, багровеет, наливается соком. Цокает языком:

– Сюда бы еще что-нибудь этакое, – говорит он, и рисует руками в воздухе пышные женские формы. – Без баб, как без фанфар. Как строим без барабана. Скука. Летом их в городе, что куропаток в поле. Иду в саду ночью, шарю фонариком. А они из кустов так и шарахаются с визгом, как фейерверк. Смотрю: на скамейке двое возятся. Я их на испуг. Он – ноги, и дунул по дорожке. Она, пьяная, пялится, точно невыдоенная корова на ферме. Ничего, ничего, говорю, не грусти. Что-нибудь придумаем, чудище ты мое подфонарное. Веду в будку. Дверь на ключ.

Только я то, да се – дверь дерг, лупят кулаком. Шептало, наш майор, ревет на весь сад, как сирена: Чапура, открывай! Я знаю, что ты здесь... И отобрал ведь у меня девку, чтоб его в лоб... А однажды мы с Баранашвили целый месяц сырые яйца с пустырником жрали для мужества. Сказали нам: есть две, никто их никак не ублажит. И что ты думаешь, мы с Баранашвили у них трое суток были на боевом взводе, как железные трудились, не покладая дул. На четвертые сутки все ж таки умаялись. А ну их, думаем, в титьку. Так ведь и богу душу отдашь. Чуть те вздремнули, мы с Баранашвили и давай тягу со штыками в штанах накараул. А Ванька водолаз. Помнишь? Водку жрал бочками, как Змей Горыныч. Иду к нему на катер. Ванька в кубрике, горюет. Стол в пустых стекляшках, как стеклодувный завод. А на лежаке валяется тюленьими ляжками какой-то гуталин. Храпит, наштабренная Ванькой и в хвост и в гриву. Ванька пальцем показывает: хочешь? Студентка из Сенегала. На водолазку у меня учится...

Два ночи. Мост разведен. Быков и Чапура в будке. Снаружи ветер, фонарь, бурная октябрьская ночь. Быть наводнению.

– Чапура, – говорит Быков, – придумай что-нибудь. Я и так и эдак, не дается, хоть застрелись.

– Мужик ты или валенок? – ему Чапура.

– Простить, понимаешь, не может. Застукала с другой, – продолжает Быков.

– Не лей слюни, – рыкает Чапура, – на каждую курочку с закоулками найдется и петушок с винтом. Дави сон, пока мост разведен.

Быков дремлет, привалившись головой в угол будки... Мрачное подземелье. Куски кирпича, зубья стекла, ломаные ящики. Чапура подмигивает выпуклым, как лампочка, глазом. Вера! Ты!.. Лежит Быков, будто мертвый, и на животе у него растекающимися розами кровь. Но никак, никак Быкову не встать к ней, к своей Вере, с этим самым букетом роз. А у Веры лицо меняется, теперь оно злое-презлое. Стоит над ним, приставила тесак к горлу: сейчас башку стругану!.. Размахивается и бьет...

Быков просыпается и ничего не понимает. Лампа со стола упала на пол. Голова болит. Чапура изрыгает матюги. Выскакивают из будки, свешиваются за ограду моста, смотрят: внизу баржа, красный фонарь, долбанулась о сваю. Чапура кричит:

– Эй, винт моржовый, гребь к берегу, мы тебе сейчас сделаем рыбью морду!..

На палубе шатается капюшон, пьяная чурка, образина в брезенте, моя твоя не понимай...

На следующий день вечером Быков встретил Веру на Невском. Лебеди-ноктюрны!

– Вера! Ты!.. Я застрелюсь!

– С ума сошел! Стреляйся, топись, вешайся! Первобытный ты человек, Быков. А еще представитель власти.

Уплыла. Ветерок французских духов. «Что мне, баб мало!» – думает Быков. Толкучка. Час пик. А он тут стоит, как цепью прикован к этому месту. Фонари, фары, автобусы, колючий дождик. Толпа тычется противными зонтами, лезет в глаза. Взречь бы быком на весь город! Пусть шарахаются! У, Минотавр!

На Дворцовой площади машина-гигант с кровавыми фарами, кипит котлами, катится в парах, льет лаву асфальта, бегут желтые бушлаты с лопатами наперевес. Визг от машины ультразвуковой, уши лопаются. «Это срочно ремонтируют город», – думает Быков, – скоро праздник. Скоро великий октябрь», – думает Быков. – «Ухнуть бы кого ломом в лоб. И в люк...»

Чапура ему:

– Не грусти. Быков! Слушай: я был летом в доме отдыха на Кавказе. Горы, море, самый смачный сезон. Там все полковники, да полковники. Импотенты. А ко мне женперсонал, сам знаешь, так и липнет, будто я весь из меда. Ну и чутье у них, я тебе скажу... У меня там было

двенадцать жен, как у шаха. Я их принимал сразу по две в номере. Менялись по вахте через каждые четыре часа. Такой, знаешь, танец маленьких лебедей всю ночь.

Выпуклые глаза Чапуры масляно смеются, поет свой любимый припевчик: ландыши, ландыши, светлого мая привет...

– Слушай, – продолжает Чапура, – вчера я звонил твоей птахе – я, значит, не могу терпеть такую аморальность в советском государстве. У Митьки-то твоего глаз на сторону. Она: что такое? Негодяй! Пошли вы оба туда-то... И бросила трубку. А? Как подкопчик? Ценишь? То ли еще будет!.. Я, знаешь, сам решил твоей недотрогой заняться. Для ровного счета. Как раз третью сотню закрою. Да и зачем она тебе, Быков. Ты уж с ней надурил. Я тебе другую добуду.

Быков смотрит на Чапуру и не понимает: шутит он или всерьез.

– У-у-быю! – наконец выдавливает он, заикаясь.

Чапура усмехается, стоит и демонстративно почесывает свой громадный кулачище.

Утром, в 8.00 за трибуной командир взвода лейтенант Тищенко опять читает взводу из черной библии новые чрезвычайные происшествия:

– Патрульный «газик» упал ночью с Кутузовской набережной. Весь экипаж погиб.

Убийство ножом в спину милиционера в Приморском парке.

Ночью в Летнем саду неизвестная банда разбила на куски античные статуи. Постовой из будки исчез.

Побег из спецбольницы психов и сифилитиков.

В своей квартире задушены электрошнуром супруги Сидоровы.

Разыскивается за развратные действия с несовершеннолетними: шрам на левой щеке...

– В общем, как всегда, все одно и то же: убивают и насилуют, насилуют и убивают, – заключает лейтенант Тищенко.

Затем взвод опять строится в коридоре. Пуговицы, значки, кокарды. Перед строем лейтенант Тищенко. Он полон служебной энергии. Вздергивает очки-окуляры. Лягушачий рот широко округляется и издает звонкую команду:

– Смир-р-рно! – лейтенант качнулся на каблуках. – Сегодня у нас тяжелая служба. Так сказать, день чекиста. Будете получать денежное вознаграждение за свой доблестный труд. Эх, орлы! Чувствую, что опять без сюрпризов не обойдется. Снова завтра кое-кого в строю не досчитаемся. – Лейтенант дергает на носу свои окуляры. – Главное, получше храните удостоверения своей драгоценной личности, не засовывайте его в сапоги, не дарите любимым женщинам в знак верности мужского сердца, не теряйте в транспорте, не роняйте в унитазы. Не повторяйте ошибки сержант Цыпочки.

С краю шеренги задвленно смотрит недавно потерявший удостоверение маленький щуплый Цыпочка.

– Берите пример с вашего командира, – продолжает Тищенко, расстегивает карман голубой рубашки, двумя пальцами извлекает корочки. А корочки-то, оказывается, прикованы к железной цепке, а цепка повешена на тонкогорлой, но крепкой, как бутылка, лейтенантской шее. Тищенко обводит шеренгу победными, поблескивающими сквозь очки глазами.

Шеренга шумит:

– Ну, командир! Навек пришпандорил! – прячут усмешки.

– Взвод! По постам! Разойдись! – командует Тищенко.

Чапура в курилке опять травит истории.

– А помнишь, Черепов, из 4-го взвода, на Дворцовом мосту показывал своей девахе, какая у него есть игрушка. Ну, и прострелил ей носопырку. Увезли на «Скорой» без носа. А Медведев из Нго взвода. Охотник. Да ты его знаешь. В мехах ходит. Приезжает к нему ночью на Волково кладбище наш майор, Шептало Петр Петрович. Заходит в будку: – Ты опять пьян, – говорит, – сдай оружие.

А тот:

– Сам ты пьян. А я трезвей стеклышка.

– Едем на экспертизу, – говорит Шептало.

– А вот тебе экспертиза, – отвечает Медведев, достает дуло и ковыряет пулями кирпич над макушкой майора. Тот деру в дверь, ни жив, ни мертв.

А Белогорячиков, командир 2-го батальона, долбанул себя в висок в кабинете. Весь череп разнесло. Дело темное...

Большое, мрачное, как замок, здание универмага на Обводном канале. Этажи, этажи. Гудит улей торговли. Колышутся толпы. Пикет милиции: конурка с окном во двор, облезлый кожаный диван, куб-сейф, стол, телефон.

Мишка Мушкетов привел парня с грязными соломенными волосами, бьет его кулаком по шее. Тот мотается, как чучело на огороде, вопит:

– Сержант, не бей, больно!..

– Да я тебя сейчас на электростул посажу и провод с током в задницу воткну, ворюга! В Отделе обуви скинул с лап свои вонючие бахилы, надел новенькие английские колеса, и катится к выходу, как король...

Через полчаса Мушкетов приводит в пикет целый табор. В руках у Мушкетова ворох отобранных предметов спекуляции: чулки, колготки, шапочки, кофточки, импортная парфюмерия. Все швыряет на стол. В комнате несмолкаемый визг цыганского хора. Толстая Кармэн кричит:

– Э, бесстыжая твоя рожа! На, грабь! Ничего больше нет. – И трясет перед сержантом чумазыми пальцами в золотых кольцах. Усатый сержант морщится и хладнокровно отстраняет от себя цыганку.

Администратор Лазарь Степанович с седым пушком на голове просит:

– Мишенька, приготовься, сейчас выкинем дефицит, дубленки из Польши.

В зале гул, дерутся локтями. Толпа колышется, изгибается, по лестницам, с этажа на этаж, как гигантский змей. К прилавку пробивается, орудуя костылем, высокий старикан в морщинистом грязном плаще, горит во всю щеку яркий румянец алкоголя. Старикан кричит медной глоткой, как армейская труба, требует: за раны ветерана импортная дубленка ему полагается без очереди... Старика сжала толпа женщин, шумят, галдят, сейчас разорвут на кусочки. К месту беспорядков приближается, раздвигая возмущенную массу, сержант, его рыжие усы дергаются. Мушкетов сегодня дежурный по универмагу. Значит, порядок будет железный.

Вечером у метро Быкова остановил старик в зипуне, с мешком за спиной, с обаятельной лайкой на поводке:

– Сынок, я приезжий, порядков не знаю. Можно в метро с собачкой, аль нет? Она у меня смиренная.

Лайка смотрит дивными кроткими лучисто-кариими глазами. Быков вздрогнул. Вдыхает:

– Нет, нельзя, папаша. Не положено.

Были политические занятия. В классе гвалт, на стене плакат, красными буквами тема:

*Духовный прогресс личности советского милиционера.*

Замполит Шептало с указкой за трибуной. Встает Мишка Мушкетов, тощий, дергаются злые рыжие усы:

– Я скажу! Что трудящемуся милиционеру духовный прогресс и перестройка личности!.. Вы, товарищ замполит, живете себе в своем трехкомнатном микрокоммунизме с ванной и телевизором, а я, как таракан, прогрессирую в своей казарме с женой и детенышем пятый год!..



А дежурил я на секретном складе, без окон, без вентиляции, за железными замками, как очумелая крыса. Падал в обморок через каждый час от нехватки воздуха и антисанитарной вони. Отнюхивался нашатырным спиртом. А потом говорят: Мушкетов опять на посту пьян. Где же справедливость, товарищ замполит? Вон и железный Феникс, – Мушкетов показывает на портрет Дзержинского на стене, – как осуждающе на нас смотрит!

– Да не Феникс, а Феликс. Сколько раз, Мушкетов, тебе повторять, – морщится за трибуной замполит Шептало.

Мушкетов продолжает:

– А в отпуск на родину слетал. Ползал с батькой в шахте на четвереньках, киркой шарачал, как при царе Горохе. Чуть не завалило. Подпоры – труха. И жрать нечего. Пер отсюда чемодан колбасы.

– Мушкетов, что ты мелешь не по теме, хватит дебатов, садись! – машет обеими руками замполит Шептало. – Кто следующие? Булатов! Только по существу вопроса. Что такое духовный прогресс твоей личности?

Булатов молчит. Потом шепчет: – Иди ты к Эдите Пьехе...

Взвод шумит. Ловейко сзади набрасывает на шею Булатову аркан (веревку для связывания преступников). Булатов, черкес, багровый, свирепеет:

– Убью!

Шептало обоих выгоняет из класса указкой, как мальчишек. Начинает за трибуной речь:

– Миленькие мои, теперь, когда весь народ вступил в новую фазу духовной жизни...

После политзанятий Чапура, подмигивая:

– Еще раз звонил твоей птичке. Дал адресок, где тебя с поличным застукать можно. У нее голосок дрожит: «Мне-то какое дело. Знать его не желаю!...» Чапура гогочет. Напевает: ландыши, ландыши, светлого мая привет...

У Быкова дергаются губы, сжимает кулаки, говорит:

– Тронешь Веру – тебе не жить. Я не шучу.

– Я тоже, – сразу мрачнеет Чапура, и, тряхнув головой, сдвигает козырь на брови. – Поразговаривай, – заключает он, – враз кончу. Пикнуть не успеешь.

Быков и Чапура выходят на улицу. Идут. У пивного ларька драка, дубасят друг друга кружками по зубам. Чапура подходит, орет:

– А ну, рассысья! Бомжи, тунеядцы, пьяницы, ухогорлоносы!

Драка поворачивается к нему и застывает с поднятыми кружками в руках. Подъезжает фургон медвытрезвителя, и двое дюжих сержантов с помощью Чапуры и Быкова швыряют грязных уродин в фургон, как собак.

– На мыло их! – говорит Чапура.

– Орлы! – взывает Тищенко, – все на собрание!

Усаживаются в зале в ряды малиновых кресел. Там уже весь батальон. На возвышающейся сцене широкий стол, покрытый кумачом. Слева, у стены, большой белый Ленин из гипса. На противоположной стене метровый портрет Дзержинского в золотой рамке. За столом на стульях сидит президиум. В центре стола, под яркой люстрой, полковник Кучумов, постукивает карандашиком по графину с водой. К полковнику склонился майор Курков, говорит, морща лоб. Слева замполит Шептало с большим морковным карандашом. Справа шу-шукаются партсекретарь Севрюгин и комсомольский вожак сержант Шибанов. За трибуну встает сам полковник Кучумов с бумажной кипой, кладет листы перед собой. Поднимает руку, кричит в зал:

– Тихо!

Надевает очки, начинает говорить громким командным голосом, взглядывая через очки на бумагу перед ним:

– Товарищи! Исторический октябрь, говоря глобально, потряс судьбы мировых народов. С какими же итогами труда, товарищи, мы грядем к большому революционному юбилею?..

Лиц, в стадии алкогольного опьянения, оскорбляющего общественную нравственность, честь и достоинство советских граждан, нами в этом году сдано в медвытрезвители города в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Лиц, совершивших спекуляции и другие мелкие нарушения и преступления закона, нами сдано, товарищи, только в два раза больше по сравнению с прежним годом.

А вот лиц, совершивших хищения, хулиганство, грабеж, разбой, убийства и другие тяжкие уголовные преступления закона, этих лиц, товарищи, – и полковник Кучумов вдохновенно повышает голос, – нами в этом году сдано соответствующим службам в целых три раза больше, чем в прошлом году! Явный рост производительности труда, товарищи! Сами видите, какие у нас замечательные показатели. Но в то время, когда указы партии и правительства настраивают советских людей, говоря глобально, на повышенный режим трудовой жизни... – полковник Кучумов снял очки, строго посмотрел в зал. Зал тих. В задних рядах просыпается сержант Цыпочка. Кучумов, выдержав многозначительную паузу, продолжает:

– ...некоторые наши бойцы позволяют себе злостные нарушения дисциплины и вообще, вытворяют черт-те что. Таких артистов еще поискать! Таланты! Самородки! Не батальон, а балаган. А ведь мы с вами, товарищи, должны день и ночь думать о поголовной дисциплине в наших рядах. Железный Феликс нас бы сегодня по головке не погладил. – Кучумов пугливо взглядывает на суровый профиль Дзержинского на стене. – В этом году девять милиционеров батальона утратили удостоверения своей личности. Это Железкин, Чубарь, Цыпочка... Сержант Цыпочка, встать! Объясните нам, уважаемый сержант Цыпочка, при каких чрезвычайных обстоятельствах вы лишились удостоверения вашей драгоценной личности? Пожалуйста, сержант Цыпочка, мы все вас убедительно просим. Может быть, у вас произошла схватка с лютым рецидивистом, он-то и порвал в борьбе с вами ваше несчастное удостоверение? А?

Цыпочка переминается, хмуро смотрит в окно.

– Так что же вы, товарищ Цыпочка, молчите? А?

Цыпочка мямлит:

– Я же говорил...

– Ну, ну, дальше, Цыпочка, вылупляйтесь поскорей!..

– Ну, я же вам уже говорил, – бормочет Цыпочка.

– Да вы не мне, вы к товарищам-то повернитесь, им поведайте!

– Ну, в отпуске был, у матки с баткой, – неохотно объясняет Цыпочка, – показать попросили, никогда не видали еще, говорят, что за штука. А тут ихняя корова, думала – конфета, ну и слямзила из рук, жует, тварь такая, челюстями vorочает, как комбайн. Ну, что сделаешь с ней, с животным! Приучил братан конфеты жрать.

В зале смех, гримасы, ехидно зовут: цып, цып, цып, и конфетку!

– Тихо! – поднимает руку Кучумов. – Таким не место в органах милиции. Наши ряды, говоря глобально, должны быть безукоризненны. Таких из наших рядов надо вышибать железной метлой! На первый раз, Цыпочка, объявляю вам трое суток гауптвахты, – обратился полковник к поникшему сержанту. – А, вообще, выбить бы вам удостоверение на вашем лбу вместо клейма, чтобы до гроба не потеряли!

Пролетело еще восемь дней, точно пистолет разрядил обойму, выпалил все свои восемь пуль. Каждый день – дежурство.

Ночью вчетвером – Быков, Ловейко, Схватик и Булатов – на Витебском вокзале. Особое задание, рейд. Ловили беглецов-психов из спецбольницы. Шарили фонариками в темноте по

шпалам, осматривали товарники, запасные пути, разбитые вагоны. Утром нашли в заброшенном вагоне Лупенко. Оброс щетиной, как железом, загнанная крыса с красными злыми глазами. Связали. Пинали сапогами за Витю Цветкова. Чуть не забили до смерти.

Теперь история с убийством Цветкова известна полностью. Дело было так. Лупенко под проливным дождем на безлюдной улице с невзрачными домами еще времен Достоевского свернул в подворотню с тусклой лампой и во дворе толкнул дверь парадной, справа. Спустился по ступеням в подвал, остановился перед мрачной железной дверью с глазком и несколько раз подряд, с ожесточением нажал кнопку звонка. Плащ Лупенко от влаги дождя потемнел и набух, с козырька скатывались капли, усы были унижены брызгами.

Лупенко услышал, как за дверью гремел ключом постовой милиционер, ожидавший смены. Мощная дверь со скрежетом отворилась, за ней, через шаг, была распахнута вторая железная дверь, а за той дверью была еще и стальная решетка, которая закрывалась на засов. Дальше виднелся длинный узкий коридор с осыпающейся известкой стен и темными потеками на них. От коридора в обе стороны шли лабиринтом разветвления. Электрический свет пыльных плафонов был желто-тускл, пахло подвальной затхлостью, несло хлоркой из туалета. Тщательно осмотрев двери помещений, проверив замки и пломбы, Лупенко принял смену, позвонил дежурному по батальону, проводил предшественника наружу, и закрыл, лязгая ключом, одну дверь за другой. Затем Лупенко вернулся к своему столу с телефоном и лампой. Шумела, переливаясь с журчащими звуками из неисправного бачка в унитаз вода. Больше ничего не могло услышать даже самое чуткое ухо.

Но Лупенко вздрогнул, вытянутое лицо, настороженный взгляд. Оглянулся в коридор. Затем лихорадочно расстегнул кобуру, достал пистолет, передернул затвор и с пистолетом в руке, крадучись, бесшумными шагами двинулся еще раз осматривать все бесконечные закоулки этого помещения, запутанного, как лабиринт, со стальными дверями в замках и пломбах.

Нет, ничего подозрительного Лупенко не обнаружил. Тогда он снова вернулся в центральный коридор, к своему столу, засунул пистолет обратно в кобуру, плюхнулся в кресло, вытянул ноги в сапогах и развернул газету.

Через какое-то время снаружи раздался оглушительный звонок. Лупенко вскочил с кресла, как пружина. Он быстро сунул газету в ящик стола и устремился открывать двери, поправляя на ходу галстук и фуражку.

У последней двери Лупенко поднял веко глазка и внимательно осмотрел человека снаружи, хотя он и был ему хорошо знаком. Уменьшенный фокусом линзы, стоял там командир отделения старшина Цветков, и усы его браво торчали стрелками, как у жука.

– Открывай, лютики-незабудки! Разглядывает, как в театре. Ослеп, что ли? – шумел Цветков, и, вваливаясь, наконец, в помещение, внес запах дождя и сырой одежды.

Цветков был ветеран милиции, старшина, прослужил почти двадцать пять лет. К Новому году можно было и собирать документы на пенсию. Но это был мужчина в расцвете сорока пяти лет, крепкий телом, с бычьей шеей, с круглой головой в жестких черных волосах. Его лицо сияло солнечной добродушной улыбкой до ушей, показывая широкие, замечательной белизны зубы. Это был еще тот цветок! Чертополох! Кактус! Цветков гремел:

– Лютики-незабудки! Что ты все молчишь? Отвечай, как ты докочевал до такой жизни?..

Потом Цветков, наверное, стал рассказывать Лупенко, смущенному таким напором энергии и веселья, самые смачные последние анекдоты, и сам же раскатисто гоготал, массивно рассевшись в кресле и упираясь ручищами в колени. А Лупенко стоял перед ним и косо, вежливо улыбался.

Тут опять до слуха Лупенко раздался какой-то странный подозрительный звук, как будто кто-то с тихим ржавым скрипом открывает дверь где-то изнутри запломбированного помещения за поворотом коридора.

Лупенко опять выхватил из кобуры пистолет, который был уже на боевом взводе, судорожно двинулся вдоль стенки на полусогнутых ногах, устремив настороженный заледеневший взгляд в одну точку.

Цветков крикнул ему вслед:

– Ты что, совсем сдурел? Во шибанутый! Тебе бы только мышей стрелять!

Лупенко снова какое-то время, крадучись, обыскивал путаницу коридоров.

Когда же он, опять ничего не обнаружив, возвращался, прислушиваясь к каждому шороху, вдруг тихо скрипнула дверь позади него, Лупенко быстро обернулся, и пистолет выстрелил...

Человек застонал, захрипел:

– Ах, ты, лютики-незабудки... – и опустился в распахнутых дверях туалета. Это был командир отделения Цветков.

«...Наконец-то можно и отдохнуть, отоспаться» – вздыхает Быков, – «домой, теперь уж домой». От Исакия шел к Неве, к Всаднику.

Выскочил лейтенант ГАИ в фосфоресцирующих манжетах, вращает колесом дубину-зебру, гонит автомобили по сторонам, как тучу стальных мух, туда-сюда, да хоть в воду, хоть на луну, к чертовой матери! Освободить дорогу!

В сумерках от Невы показался красный бисер, поворачивают у Всадника. Шарахнули фары, крутится на передовом милицейском газике, как бешеный, синий фонарь. Мчатся мотоциклисты-охранники в кожах, головы-яйца с гербами. Проносится стая черных шелестящих машин, за стеклами толстогубые профили эфиопов.

Быков идет по бульвару Профсоюзов. Остановился трамвай, распахнулись створки, вывалился Алкоголь Горыныч, в грязи, в блевотине, лоб раздрызгай. Мытариться еще с этим сокровищем! Прислонил к стене. Патруль подберет.

Катится Быков в ночном безлюдном трамвае. Мимо Никольского собора, Крюкова канала. Старый-старый Петербург. Очень старый. Смотрит на скучные, плывущие в темноте дома, на мерцающую ухмылку воды. Лампочка-одуванчик в подворотне. Тусклые окна. Неожиданный на мгновение просвет неба между фасадами, страшный, как в иной мир. «Где это я? – думает Быков. – Этот кусок города брошен на съеденье псам!» Кроваво-кирпичное здание с содранной кожей. Железный еж у машины-чистильщика, как усы у Чапуры. Быков не выдерживает, кричит:

– Как называется этот город? На Л или на С?

Быков у себя в комнате. Смотрит в окно, огромный черный квадрат. А на стене постукивают часы, шагают на месте, как солдат с усами.

Вошел Чапура с милицейской кокардой на лбу.

– Эй, Быков, хочешь бабу? Смотри! – Чапура показал из штанин с малиновым кантом – Веру!..

– А ты не убежишь с моей у-тю-тю девочкой? – стал издеваться Чапура. – А вот я тебя прикую. – Снял пояс и прикрутил Быкова к батарее.

Быков орет:

– Чапура, отпусти! Зверь! Никуда я не убегу!..

А Чапура только гогочет.

Ничего нет. Темно. Хоть в глаза выстрели. Только звон и блеск на окне и потолке – трамвай. В зеркальном сапоге отразился негр. Порядок! Шагай сапог за порог! Цветочки на обоях лилово скучайте!

На Невском однообразие. Глаза и колеса.

Лучи-усы. «Рыба». Пролетают автобусы. Погасло К, горят АССЫ. Потом гаснет А.

Фонари, фонари. Рация о чем-то шумит-кричит. В пистолете спят восемь медных ос. Надо ночью охранять МЕДНОГО ВСАДНИКА на скале. Быков озирается, слушает: шумит роща, растет мерный плеск и звон, дробь барабана, и вдруг рядом ослепительно запела армейская труба. Шумя, шинелями бурого цвета, и звеня сапогами с железками, поблескивая зыбким тростником карабинов, марширует рота солдат-юнцов на Дворцовую площадь. Скоро праздник, парад, Великий Октябрь.

Номер на личном пистолете Быкова 1703. А надо ночью охранять Петра с конем на скале. Провалился он в болото!.. Растет ветер. Ураганные порывы. В дрожащих фонарях блеснит Петр, как сон. На нем позеленелый медный мундир. Как генерал. Голова в лаврах. Гроздь фонарей затряслась, зазвенела, фуражку Быкова унесло в Неву. Гранитный утес дрогнул, и над квадратнозубым конем тихонько шевельнулся Петр. Смотрит орлиным взором. Владыка! Не оторваться от его тусклого взора, прикованы глаза... А Нева взбухает, волны плещут пеной. Солдат, стреляй! Идет вода! Взлетела из рук Быкова птица-пистолет, блеснул вороненый клюв, лопнул огонь, вскрикнул выстрел над Невой яркой звездой...

И над утесами домов во сне летит выстрел на воле – такая развеселая звезда. А над городом медный гигант с перстом, и под ним у скалы солдатик со стиснутым в руке пистолетом.

Идет, идет Быков ночью. Свист ветра, мрак. Толстая баба обхватила фонарный столб, матерится по-черному, зовет: – Эй, сперматозоид в лампасах, проводи под ручку. Я за углом живу. Что вылупился? Нравлюсь? Смотри-ка – врезался с первого взгляда!

Быков видит: ну и бочка, рожа какая-то пористая, губищи, как раздавленные помидоры, ноги-бутылки, задница в грязи. Женщина! Зацепил, тащит, шатается, лужи свинские, нефтяные, ветер посвистывает в водопроводных трубах.

Зашли в дом. – Хочешь, – говорит, – отблагодарю. Только тут. В квартире – ни-ни. Муж.

Ну, и отфанфарил же ее Быков. Прямо тут, на лестнице. За все! За Веру, за Надежду, за Любовь!

Дом трясся всеми этажами, как землетрясение.

– Ну, ты и зверь! Б-б-бы-ык!

Видит Быков, укладывают сослуживцы его в гроб, все при параде, с мрачными мордами, фуражки в руках. Скрестили Быкову руки на груди, кладут сверху гробовую крышку. А она никак не ставится, что-то мешает. Смотрит Быков: а это его мужское достоинство стоит столбом, живей живого, как ни в чем не бывало. Стыд и срам. Как же хоронить?

– А вот мы его сейчас малость подкорнаем, крышка и ляжет, как миленькая, – говорит Чапура и вытаскивает откуда-то из-за спины топор.

Ночь. Нева. Крепнет ветер. Вздывается вода, хлещет брызгами о гранит. Чудовища флота с цифрами на боку, разукрашенные флагами и гирляндами горящих лампочек, растопыренные пушками, покачиваются на волнах. Скоро великий праздник советской страны, большая революционная годовщина. Совсем скоро.

Тоска. Купил Быков бутылку. Пошел к соседям. В комнате табачный дым, сапоги. В карты режутся. Чьи-то босые ноги на кровати. Чапура уже там, пьет из горла бутылку «Бычья кровь».

Быков ревет:

– А, так ты кровь мою попиваешь! Смирно! Равняйся! Сволочи, паразиты, пьяницы, подонки, сброд!.. Я вас, лягавых, на уши поставлю!..

Чапура спокойно допил бутылку и пошел на Быкова. Началась свалка.

Что-то Быков совсем заскучал. «Если быть – то уж быть. Первым. Вот если бы я стал, как Гагарин, – первый космонавт на планете, – думает Быков. – Вот это жизнь! Космическая! Свобода! Молодая веселая кровь. С пылу, с жару. Ошеломлять башку и сшибать с копыт... А закон стоит у ворот, чурбан в каске, с гербом на лбу, с автоматом. Кто его тут поставил, у зоны запрета для слабонервных? Начитался, сволочь, слюней, теперь рассуждаешь. Освободиться бы от всего, от всего!.. Нет, до чего ж скучно, – думает Быков, – куда ни сунься – морды, морды... Нет уж, – думает Быков, – я свои сапоги ни на что не променяю. Ни на какого Моцарта и Сальери. Плевать мне на них с Исаакиевского собора. Гады. Хоть бы раз дали путевочку в Париж. Что я, не человек? Я тоже хочу попутешествовать по всяким там заграницам... Вот сидела бы у меня на плечах генеральская звезда! Нет, лучше – министр внутренних дел».

Видит Быков самого себя в широких брюках с лампасом. А над ним ослепительными буквами лозунг:

*Путевки в Париж – каждому советскому милиционеру!*

Чапуре полирует щеткой сапог, напевая свою любимую песенку: ландыши, ландыши, светлого мая привет.

Щурит выпуклый желтый глаз, говорит:

– Быков, ты ведь свое получил. Полакомился девочкой, дай и другому. Что выкобениваешься? А все потому, что ты такой жадный.

– Ах ты, гад, змей! – вскрикивает Быков, машет пистолетом. – Убью!

Чапуре с усмешкой пожимает широкими плечами.

Выстрел. Чапура и не дрогнул. Знай себе ухмыляется.

Быков стреляет и стреляет. Патроны кончились. Что делать? Стал доставать из кобуры запасную обойму. Где же она?.. А все зубы у него изо рта так и посыпались. Подставил ладонь – а это, оказывается, патроны, целая пригоршня.

– Вот тебе и запасная обойма, – говорит, подходя, Чапура, и бьет Быкова сапогом в пах, потом в поддых.

Быков охает, приседает, хрипит с разинутым ртом.

Чапуре наваливается, жмет его коленом к полу, душит матерыми лапищами, ломая горло.

В мозгу Быкова взрываются и высоко возносятся, как фейерверк, большие кроваво-веселые звезды. Все выше и выше. Дух захватывает. Праздничный салют...

Потом все тухнет.

## Вторая бутылка

Улица Шкапина, мрак, дождь. Ветер, внезапно набрасываясь, ударяет сбоку. Хорошо что – ватник. Ничего святого у этой погоды. И фонари трясутся в мутных свинцовых ореолах. Октябрь.

Нагнув незащищенную голову, преодолеваю пространство. Только бы старуха не закрыла пивной ларек. Впереди освещения больше, трамвай лязгает. По Обводному каналу косит дождик.

Ларек уже близко. Облизываю пересохшие губы. Какой-то темный тип загородил дорогу:

– Эй, мужик, дай рубль!

– Нету. Одна мелочь.

– Ну три рубля дай. Пять дай. Десять! – уже орет обезумевшим голосом, наступая на меня, уголовный верзила.

– Да нет ничего. Честное слово. Вот только двадцать копеек на кружку пива.

– А ты, оказывается, крепкий мужик, – удовлетворяется тот. – Ну, хоть хлебнуть оставишь.

У ларька стоит суровая мужская очередь. Стоит молча, вперив взгляд в заветное окошко, где толстые, как боровы, пальцы старухи брызжут водой, омывая кружку, поворачивают кран, и выращивают снежную вершину.

Впрочем, я обнаруживаю, что не только мужчины составляют общество пивного ларька. Две, которых для краткости лучше бы назвать на «б», находятся в сторонке и уже хлебают из кружек, размазывая помаду. В отличие от мужчин эти достаточно разговорчивы. Они вскрикивают и производят резкие жесты, обсуждая свои приключения. Особенно оживлена та, что выделяется весьма объемными формами и мясистой лицевой частью. Она держит кружку, изящно оттопырив похожий на сардельку мизинец. По ее плащу на живот стекает струйка пива. Кулаком другой руки она тычет в чахлую грудь подруги и закатывается хриплым хохотом.

Бледный юнец в кожаной кепке непринужденно предлагает:

– Идем со мной, что ли. Не пожалеешь.

Та пихает подругу в бок и гогочет:

– Слыхала, а?.. Да что я с тобой делать буду? У тебя еще пистолетик не вырос!

Наконец и я получаю свое облако пены. Мрачный верзила держится около меня, хоть и отвернул голову, безучастно взирая в мировое пространство.

Я ему оставляю почти половину. Он важно принимает кружку, не спеша делает пробный глоток, и потом замирает с задумчивостью дегустатора, чмокая губами.

Я уже собираюсь двинуть в свою котельную, но замечаю, что накопившаяся очередь шумит и волнуется. Два бритоголовых, расправив плечи, отстраняют людскую мелочь и полновластно занимают место у окошка с пивом. При этом один из них нечаянно толкает под локоть моего нового знакомого, который как раз надумал сделать вторую пробу. Выплеснутые таким способом остатки пива, освежив его небритую физиономию, текут по щекам. Верзила утирается рукавом, произносит односложное ругательство и, резко взмахнув кружкой, бьет обидчика по зубам. Раздается хруст. Потерпевший садится на корточки и выплевывает, мыча, кровавую кашу. Друг его, горя мстью, лезет в карман (не за ножом ли?). Но верзила держится решительно, приготовив свое оружие для следующего удара. И это оружие грозно. Оно не обещает ничего приятного. Торчат острые, как бритва, зубцы стекла. Люди у ларька вросли в асфальт, столбы столбами. Женский пол завизжал.

Будто из-под земли вынырнул милицейский «газик», и, сделав вираж, резко затормозил... Выскочили два сержанта. А верзила с устрашающей кружкой, где же он? Ветер сдул... Очередь тычет в меня пальцем – этот с ним был. Тот, что так и не вытащил нож из кармана,

тоже – нет его. Сержанты швырнули в фургон разбитого. Двинули и меня в спину, предлагая бесплатный проезд. Я понимаю: сопротивляться бессмысленно.

Во дворе районного отделения милиции оживленно, движется туда-сюда будничная милицейская форма. Из подъезжающих фургонов выгружают нарушителей общественного порядка и прочих преступный элемент и конвоируют во внутренние помещения. А оттуда уже оформленных преступников выводят, чтобы отправить в те или иные места – отбывать наказание. Профессионально отлаженный круглосуточный конвейер по обработке противозаконных людей.

Повели и меня, вместе с другим участником происшествия, разбитым и стонущим.

В тусклом помещении с загаженным полом сержанты, усадив своих подопечных на скамьи вдоль стен, пишут протоколы, выпытывая у виновных их паспортные данные, а также перечень имущества, находящегося при них. Затем ведут и встают в очередь, опять же к окошку, за которым сидит дежурный офицер с красной повязкой и помогающий ему старшина. Но из этого окошка выдают отнюдь не пиво. И я, державшийся довольно равнодушно, начинаю трястись.

Дежурный офицер (то ли майор, то ли младший лейтенант – знак звезды прыгает на его плечах, вводя в заблуждение своими размерами), ведающий судьбы, изрекает мой срок, и усатый конвоир-сержант, подталкивая в спину, гонит меня из помещения. Но мне не хочется, ох, как не хочется, и я пытаюсь тормозить.

Скользя безнадежным взглядом, замечаю: дюжий старшина, шкаф в мундире, сидит в сторонке, покачивая нечищенным сапогом. Его исполненная пунцовой и сытой важности личность не выражает никакого чувства по поводу заикающегося, похожего на бред повествования, которое расходует перед ним какой-то потрепанный бедолага.

Что-то озаряется, старшина мне знаком, и я кричу:

– Шмякин!

Тот поворачивается, он изумлен. Тряхнув лбом, сдвигает на брови козырек фуражки и орет во всю глотку:

– Охромеев! Ты тут чего?

Слабо улыбаюсь и развожу руками.

– Погоди.

Идет к окошку. Дежурный раздражается:

– А раньше ты где был? Я его уже оформил.

– Этого взамен возьмешь, – невозмутимо говорит Шмякин, указывая на приведенного им бродягу. – Ему один хрен. Как его ни запиши.

Обмен происходит, Шмякин выводит меня на улицу. Радуюсь: ночь, город. Дождь поливает вволю, как ему хочется.

– Спасибо, – бормочу я, – если бы не ты...

– Не траться! – орет Шмякин. – Чешем ко мне. Надо встречу спрыснуть. Я ведь не из «уличников». Я к ним забрел бомжишку сдать. Из охранников я.

– Что ж ты, тюрьму охраняешь?

– Кроме тюрьмы есть что охранять, – наставительно произносит Шмякин, и поднимает палец. – Объекты особой государственной важности. Понял?

– В котельную мне надо, – вспоминаю я.

– Что, котлы взорвутся?

– Да нет, еще не пустили. Готовим.

– Ну, и забудь свою котельную.

Шмякин подвел меня к дому. Шесть этажей темны. Только на первом тускло размазывается по стеклу свет. Окно в решетке. Что тут охраняют?



Шмякин позвонил, нас пускают в заскрежетавшую дверь. Лычки младшего сержанта, усы.

Коридор, двери, таблички с цифрами. Шмякин вводит меня в комнату:

– Ну, располагайся. Ведь как чуял. У меня тут как раз бутылек конфискованный.

Из сейфа достает водку. Голый стол, желтая лакированная скака. Со стены смотрит Дзержинский. Неизменный. Незаменимый.

Шмякин разлил в стаканы:

– Ну, поехали! – крикнул. – Закуска – извини. Хочешь, вот со вчера корка завалялась.

После третьего стакана Шмякин принялся рассказывать, как он проходил у врачей обязательную каждый год проверку своего здоровья.

– Слушай, Охромеев, хохма. – Масляно заливается Шмякин. – Поначалу надо было анализы сдать. Ну, нацедил я мочи поллитровую банку. Старуха в халате говорит: «Ты что? Жеребец? Это же лошадиная доза!..» – «Ничего, – отвечаю, – анализы лучше получатся.» – Пошел я дальше – сидит девица, кровь из пальца шлангом высасывает. Ну, улыбаюсь, тары-бары, куда, говорю, вечером закатимся? Она – тоже, развеселилась. Глазищи – у! Раскрашенные во всю рожу. Как у коровы. Не прочь, в общем. И сама не заметила, как у меня чуть не канистру крови выкачала. Еле выбрался по стенке, как пьяный.

Я слушаю шмякинскую муру, крошу корку в пальцах. Шмякин продолжает:

– Вот, в кабинете хирурга, знаешь, подольше задержаться пришлось. Хирург, такая, знаешь, матрена, раздевайся, говорит. Снимай все – до носков. Что ж. Понятно. Посмотреть, у меня есть на что. В кабинете сразу откуда-то взялись три медсестрички, инструменты на столах переставлять им понадобилось. Сунула голову в дверь и четвертая, как будто с вопросом. А хирург брови нахмурила и спрашивает:

– А это что же у тебя на конце-то такое, а? Нарост какой-то?

– А это, – говорю, – мы на флоте из баловства. Шарик это у меня под кожей. (Помнишь, Охромеев, пьяному мне зашили тогда, стервецы, в конец шарикоподшипник).

У хирургши и очки на затылок полезли:

– Это для чего ж у тебя такое?

Медсестры инструменты перестали передвигать, уставились на меня, слушают.

– Ну, как же! Все для любви, – отвечаю. – Чтоб, значит, женщинам приятней было.

– И что? Приятно им?

– Еще бы. Катаются, как на роликах. Можно сказать, визжат от удовольствия.

Хирург аж на копытах вздыбилась:

– И тебе не стыдно?! Вот такие, как ты, и портят нашу сестру! Ну что, скажи, женщине после тебя делать?.. Разве она сможет жить с каким-другим?

– А мне-то что, – говорю, – после меня хоть потоп.

Хирургша визжит:

– Это надо у тебя вырезать!

А медсестры за меня заступаться стали:

– Клавдия Ивановна, но ведь у него это совсем вросло. Вы же видите. – А сами так и стреляют глазами. – Теперь операцию делать опасно. Пусть уж так и остается.

– Ха-ха-ха, – заливается Шмякин. Его глаза-щелочки масляно смеются. Мне становится не по себе. Сейчас он похож на веселящегося спрута в милицейской фуражке.

Допили остатки. Я заскучал. Шмякин меня подбадривает:

– Охромеев, не унывай. Сейчас еще добудем. На! Переоблачайся! – и Шмякин извлекает из сейфа полный комплект милицейской формы.

Выбрались наружу, на улицу. Шмякин уверенно зашагал к какой-то известной ему цели, увлекая за собой и меня, наряженного в новенькую форму с широким, как у ворона, глянцевым козырьком.

Шмякин останавливается и поводит носом, втягивая воздух. Заворачиваем за угол дома и направляемся в скверик. Там, на утопающей в грязи скамейке, мокнут под дождем два мужика. Они так и застывают со стаканами в руке. У одного из кармана плаща торчит еще не откупоренная водочная головка.

– Давай сюда, – требует Шмякин и показывает глазами на оттопыренный карман.

– Не отдам! – вдруг истошно завопил мужик. – Менты проклятые! Ведь на последнюю копейку купил, на кровную!..

– Ну-ну. Поразговаривай у меня, – лениво замечает Шмякин, – жду одну минуту.

– Сказал – не дам, и не дам, – продолжает кричать мужик. – Делайте со мной, что хотите!

– Не дашь? – меланхолично спрашивает Шмякин и икает.

– Не дам. Хоть застрели! – взвизгнул мужик.

– Последнее твое слово?

– Ага, последнее.

– Ну, ничего, – говорит Шмякин, – последнее, так последнее, – Достает из кобуры пистолет и стреляет мужику в ухо.

Взяв из кармана распластанного трупа бутылку водки, Шмякин размашисто шагает из сквера. Я, ошеломленный, выпучив глаза, следую за ним, гремя сапогами, и оставляя на асфальте бурые комья грязи.

## Родина – мать

– Шевелись, Охромеев! Что ты, как мертвый! – кричит в ухо старшина Жудяк.

В темных водах витрин плывет моя голова, окровавленная околышем.

Транспорт гудит, зыбь зонтов, погода.

Узнаю: Невский, Гостиный Двор. Сворачиваем на Садовую. Идем. Крыша галереи вдруг обрывается, дождь стрекочет по плащу автоматной очередью.

Тут – вправо. Жудяк пинает дверь, приглашает. Делаю шаг, и на меня, как из обрушенной бочки – шум, гам, гогот. Небольшое помещение полно горластого милицейства. Пахнет сапогами. Красный телефон визжит на столе, как зарезанный. Из облака дыма протягивается рука в повязке, рвет трубку:

– Дежурный по батальону сержант Фролов. А, товарищ полковник!.. Да заглохните вы, оглоеды! – кричит окружающим дежурный. Опять прижимает трубку к уху, пальцы заросли рыжим волосом, – алло, товарищ полков... будь сделано...

Я озираюсь. Повернуть обратно, назад? Поздно!

Жудяк облапывает меня медведем и ведет к дежурному сержанту, который бросил трубку и, впад в задумчивость, курит, пуская дым в левую сторону, туда, где за решеткой угрюмо пустует клетка для задержанных.

Жудяк орет, глуша все голоса:

– Фролов, ты что спишь стоя, как лошадь? Можешь зафиксировать. Это мой подопечный. Сегодня он будет при мне, в резерве.

Появляется капитан с нетвердой походкой, лицо вытянутое, скучное, тощ, как резиновая палка. Хрипло вскрикивает:

– Соколы! Выходи строиться!

– Суконцев. Зампослужбе, – уведомляет меня Жудяк.

Милиционеры, один за другим, ныряют в низкую дверь, пропадая в зевающей темноте. Жудяк и меня толкает кулачищем в спину: я проваливаюсь.

Темная подворотня, резкая сырость, сквозняк. Подворотня отгорожена от улицы двустворчатой железной дверью, висит замок. Голая лампочка-заморыш пытается с потолка освещать шеренгу. Стук дождя, шарканье, отрывки фраз.

Дежурный Фролов рад стараться. Выпучив глаза, горланит иерихонским петухом:

– Наряд, становись, равняйся, смирно!..

Капитан Суконцев страдальчески морщится. Его уху достается, он машет усталой рукой:

– Вольно, вольно... Фролов, читай информацию.

Тот распахивает толстенную в черной обложке библию и, помогая себе фонариком, начинает перечислять происшествия за сутки. Мрачной чередой идут грабежи, насилия, убийства. Шеренга пытается в темноте зафиксировать информацию в своих служебных книжках. Шуршат плащи. Это святое дело милиционеров, Жудяк пихает в бок: пиши! Я пробую, держа на весу новенькую служебную книжку, чиркать на ее первом листе, но только зря терзаю страницу.

– Терпите, соколы, – икает капитан Суконцев. – Негде нам, бедным, приютиться, чтобы по-человечески... – опять икает, – инструктаж произвести. – Его вытянутое серое лицо даже и не пытается прятать равнодушие к совершаемой церемонии. До нас доносится с его стороны приятно контрастирующий с обстановкой аромат коньяка.

– Это его дежурный запах, – косит ухмылку Жудяк.

Суконцев продолжает бороться с икотой:

– Вы уж того... Вам пятьдесят рублей прибавили. Должны быть теперь счастливы, – как говорится, до задницы. А вы, знай дрыхнете на своих постах, как медведи. Вот Быков на Кировском мосту, фуражку под голову, и храпит так, что мост трясется со всем проезжающим транс-

портм. Вот, – говорит Суконцев, приложив ладонь к уху и прислушиваясь, – так и есть – храпит!

Шеренга заливается, громче всех лучистоглазый Фролов.

Суконцев обращается к нему:

– Я, Фролов, никогда не пойму, отчего ты такой веселый после ночного дежурства: радуешься, что смена, или стакан уже успел на грудь принять?

Фролов скалит зубы:

– Как же, стакан!

Суконцев замечает меня, тычет пальцем:

– Вот, прошу любить и жаловать, в наши ряды влился новый сотрудник... Как тебя величать-то?

– Охромеев, – негромко произношу я свою фамилию.

– Так вот, Охромеев. Наставником молодому кадру назначается всеми нами уважаемый командир отделения старшина Жудяк.

Жудяк приосанивается. Он доволен.

Суконцев продолжает:

– Эх, вы, соколы мои красноперые. Никто ж от вас особенно и не требует, чтобы вы ловили на улицах бандитов и подбирали пьяных. Разве уж никак нельзя обойти, тогда, конечно... У нас другой профиль работы. Наша задача – обеспечить охрану государственных объектов особой важности... Теперь напомним тему развода. Сегодня тема развода: вежливое обращение с гражданами. Короче говоря, в двух словах: если вы хотите взять за шкуру какого-нибудь нарушившего порядок гражданина, то сотрудник милиции прежде всего обязан приложить руку к козырьку и представиться: сержант Сидоров. Затем доходчиво и убедительно, без оскорбительных слов и жестов, не унижая человеческого достоинства гражданина, объяснить ему смысл его правонарушения, а тогда уж, без лишних слов, брать за жабры и тащить в отделение.

Суконцеву, наконец, надоедает говорить. Борьба с икотой становится затруднительна, она прерывает фразы в самый неподходящий момент. Но Суконцев вдруг преображается, вскидывает голову, будто его потрянуло током, и громко командует:

– Наряд, смирно! – и начинает скороговоркой произносить, чтобы успеть до следующего ика, заключительную формулу так называемого развода:

– Приказываю заступить на охрану общественного порядка и соцсоб-ственности в городе-герое Ленинграде, на защиту жизни, здоровья и личного имущества граждан, а также... и так далее... Суконцев, застигнутый новым спазмом кишок, громко икает с утроенной из-за задержки утробной силой.

Комната милиции. Дежурный Фролов, весь так и искрясь веселостью, сдает смену другому сержанту, мрачному, как пуленепробиваемый сейф. Снимает ремень с кобурой, повязку.

Капитан Суконцев откинулся на стуле, шуршит газетой, бросает на стол. Сидит вялый, глиняный, с широкой безусой губой, зевает, как могила.

Жудяк гудит мне в ухо:

– У-у, нагулялся! Видишь, совсем разваливается. Опять всю ночь девок на служебной машине возил.

Дверь взвизгивает от удара сапога. Влетает, нагнув голову, нечто обезьяноподобное, поперек погона толстая медная лычка, старший сержант. Подбегает к нам, срывает фуражку, швыряет на стол. Фуражка с высоким околышем, как стакан, козырек расколот.

– Чтoб его в рот... Я этого козла с говном съем. Дай закурить.

У Жудяка усы встают вертикально:

– Бойцов, ты чего? С цепи сорвался?

Тот сидит на столе, нога на ногу, глаза в опухших мешках. Мундир, как будто корова жевала. Ногти булыжником бум-бум-бум по столу. С яростью закуривает протянутую Жудяком папиросу:

– Что ты думаешь! Опять этот х... на службу не изволил. Ну, достукается. Я его в рот вы-бубу... – бурно всасывает дым и в неожиданном молчании начинает выпускать роскошные пушистые эллипсы, плывущие, покачиваясь, к потолку.

– Артист! – говорит Жудяк. И мне: – Знакомься. Бойцов, командир 2-го отделения. Мы с ним в пару тянем. И – Бойцову, похлопывая меня по плечу:

– Не обижай парня. Он у меня, так сказать, под крылом.

Бойцов смотрит оценивающе. Нетронутое бритвой лицо с сивыми колючками на подбородке улыбочиво расплывается:

– Мы его враз службе обучим. Мент будет – первый сорт. Верно говорю?

Я издаю стонущее мычание:

– Да не получится из меня... – Делаю движение, пытаюсь, как паутину, совлечь этот нелепый затянувшийся маскарад.

– Ты чего? – лапа Жудяка у меня на плече, – раздеваться решил, что ли? Тут тебе не пляж. А ну, сядь.

Дверь с улицы опять распахивается. Входит красавец-майор, рост, плечи, распахнутая во все лицо улыбка. С ним маленький лейтенант в очках-колесах. У лейтенанта под мышкой папка, он важно держит голову и при каждом шаге подпрыгивает коленкой.

– Вот и наша лягуха скачет – объявляет Жудяк.

Капитан Суконцев открывает усталые глаза.

Майор что-то говорит лейтенанту, светясь золотозубой улыбкой с высоты своего роста. У лейтенанта тонкогубый рот растягивается, как резиновый, в ответной косой ухмылочке. Проходя мимо Суконцева, лейтенант взглядывает и отворачивается.

Скрываясь за майором в кабинете с табличкой «Командир батальона», лейтенант булавочно стрелнув сквозь очки, визгливо кидает Бойцову с Жудяком:

– Ждать здесь!

Суконцев тем временем встает, потягивается:

– Высшее начальство на месте. Теперь имею полное право всхрипнуть, э-э-э, в домашней обстановке. – Исчезает в дверях на улицу.

Жудяк пихает:

– Начальство ты должен знать назубок. Майор Румянцев, Сан Саныч. Наш царь и бог. А тот, с ним, твой взводный Тищенко. И Бойцову:

– Ох, подреет он Суконцева. Вот увидишь.

– Не-е! – возражает Бойцов, – не подреет.

– Румянцева от нас усылают, – назидательно информирует Жудяк. – На его место парторг Жлоба. А Тищенко его давний дружок. Да что ты, Тищенко не знаешь. Он в любую ж... без мыла влезет.

Лейтенант Тищенко, взводный, выходит своей дрыгающей походкой из кабинета. Теперь он без фуражки, на темени блестит, как рубль, небольшая проплешина. Тищенко приглашает дежурных, производящих смену, зайти для доклада к командиру батальона. «Лучеглазый Фролов и тот, сейф, отправляются на ковер к Румянцеву.

Тищенко подходит к нам. Двумя пальцами, снизу вверх, как вилкой, вздергивает очки.

– Бойцов, где прошлое дежурство был? За весь день – четыре проверки.

Бойцов взрывается:

– Шура! Соси ты...! Понял? Бегаю, как пес, по постам. Ноги по коленки стер. Пожрать некогда. Жена неделями не обласканная. Дети уже не признают. А ты еще – соль на раны.

– Фу! – морщится, отворачиваясь, Тищенко, – несет, как от винного завода. – Озирая сквозь очки обоих своих командиров отделений, заключает: – слушайте, братцы-кролики, больше я вас выгораживать не собираюсь. И парня вы мне испортите. Это уж к бабушке не ходи. Короче. Выметайтесь посты проверять. Чтобы минимум восемь проверок на пост. Охромеев, с ними будешь. Изучай, золотце, службу. Потом на хороший объект поставлю. Жудяк! Ты у меня за него в ответе.

Жудяк зевает:

– Чего там. Что с ним сделается...

Бойцов достает из коробки две спички, одну обламывает, короткую и длинную зажимает в кулак, торчат одинаковые концы:

– Короткая – север. Длинная – юг.

Жудяк тащит. Длинная! Бойцов скалит зубы:

– Ничего. Тебе молодой поможет.

– Нам юг, – говорит Жудяк. – Там постов больше.

Что ж. Влекусь в сапогах вслед за бодро шагающим Жудяком по внутреннему двору Гостиного. Дождь долбит. Тоска асфальтовая в этом тылу торговли. И Жудяк в той же асфальтовой форме – избранный цвет представителей власти. Сам я, как это делается в фильмах ужасов, с головы до ног залит асфальтом. Спина Жудяка – глухая плоскость стены, шея кирпичной кладки, затылок булыжный. Жудяк двигается враскачку, грузно ставит скошенные каблуки, цокает подковками, поигрывает пузатым медным свистком на цепочке. То накрутит на палец, то опять раскрутит.

Двор пересекает толстый страж, ведет на ремешке овчарку. Милицейский бушлат треснул по шву у подмышки. На голове величиной с тыкву едва держится крошечная фуражка, повернутая козырьком вбок. Овчарка раскормленная, глаза в мрачных кругах, по кличке Фемида.

Жудяк орет:

– Эй, Петренко! Пузо вперед! Ать два! Дрых всю ночь в залах вместе с «Фемидой», а теперь идешь дожимать в собачник? Шикарная у тебя служба. Так и гуляете вдвоем: от лежака до кормушки и обратно...

Кличку «Фемида» присвоил овчарке замполит Кузмичев. – Культурный он у нас, академии кончал, – объясняет на ходу Жудяк.

Добродушное лицо Петренко, заросшее ночной щетиной, ухмыляется.

Жудяк продолжает:

– У вас половину Гостиного из-под носа уташат, вы и не почувствуете. Что ты, что Фемида.

Петренко, добродушно улыбаясь, замечает:

– Смотри, Жудяк, она шуток не понимает, – он показывает глазами на овчарку. – Перехватит разок – мало не покажется.

– Где вам! – пренебрежительно машет рукой Жудяк, – обожрались оба на казенных харчах. Только вот я не понимаю: как Фемида терпит, что ты у нее половину мяса хряпаешь? Будь я на ее месте, я бы тебе давно тыкву откусил.

Петренко не обижается, треплет овчарку по загривку:

– Мы с ней друзья. Она за меня любому глотку перервет. Ты, Жудяк, лучше ее не дразни. – И шествует дальше в свой собачник.

В залах Гостиного двора гудит торговля. Жудяк водит меня за собой, из отдела в отдел, с этажа на этаж, ищет постовых милиционеров, охраняющих социум и общественный порядок в торговой фирме. Пятерых он, в конце концов обнаружил, кого где: один смотрел утреннюю передачу в отделе телевизоров, другой завтракал в буфете, третий добирал пару часов сна в подсобном помещении, четвертый и пятый добросовестно исполняли свой долг,

следа за колыханием жужжащей толпы в залах. Но вот на след шестого, некоего Молочкова, никак не удается напасть.

– Где этот мерзавец прячется! – кипятится Жудяк, – я из него кефир сделаю!

Наконец находим этого самого Молочкова в отделе нижнего белья и сорочек. Он сидит на низенькой скамейке рядом с продавщицей цветущего возраста, одетой в розовый рабочий халатик, и в чем-то ее горячо убеждает. Девушка криво усмехается, клонит густо нагуталинные ресницы.

Жудяк кричит:

– Ай да Молочков! Ты, я вижу, вплотную решил приступить к работе в органе внутренних дел. Так ты скоро у нас и отличником станешь.

По радиотрансляции просят сотрудников милиции срочно прибыть в зал верхней женской одежды.

– Что там еще стряслось? – Жудяк спешит в зал. Я и Молочков за ним.

В зале картина: две продавщицы пытаются удержать на месте толстую тетку с одутловатым лицом, вцепясь с двух сторон в полы роскошной норковой шубы. Тетка хрипло вскрикивает, машет руками, старается вырваться. Будто две птички отчаянно атакуют разбойницу-ворону. Еще одна продавщица брезгливо держит пальчиками какую-то чумазую хламиду.

Жудяк спокойно, с суровой важностью представителя власти, приближается к участникам происшествия. Он говорит:

– А! Старые знакомые! Ты что, мать, к зиме готовишься? Шкурку решила поменять?

Та видит Жудяка, делает торжественное лицо, поднимает руку с грязными растопыренными пальцами и патетически восклицает хриплым, пропитым голосом:

– Сынки! Защитники наши! Родина-мать вас не забудет!.. – Ее поза, действительно, довольно верно изображает известную символическую скульптуру Родины-матери.

Жудяк без церемоний берет «родину-мать» за шиворот новенькой незаконно присвоенной шубы и выводит из зала. Молочков следует за ним, держа в руке ее природную одежду, какое-то рваньё, вонючее, как из сортирной ямы. Я иду за Молочковым.

Опять мы оказываемся в комнате милиции. Там с повязкой дежурного уже не Фролов, а тот, сейф.

Жудяк ему:

– Охранкин, держи шуку! Это тебе в твой аквариум, как говорится, на разживу. Только смотри, чтобы она не разнесла его вдребезги!

Жудяк присаживается, достает из служебной сумки бланк протокола:

– Оформим-ка эту хищницу государственного имущества!

Охранкин тем временем скрежещет замком «аквариума», распаивает железную дверцу, и пинком в спину толкает внутрь освобожденную от шубы воровку. Опять закрывает дверь, лязгая ключом.

Железная клетка, которая до сих пор пустовала и казалась каким-то ирреальным сооружением из-за отсутствия в ней чего-либо живого, теперь имеет вполне нормальный рабочий вид и оглашается хриплыми воплями. Вплюснув в решетку свою фиолетовую физиономию «родина-мать» кричит:

– Сынки! Сволочи! Х... мороженые! Посс... пустите! Имею полное законное право посс...ть!

Жудяк, не обращая на ее вопли внимания, продолжает деловито составлять протокол.

## Ева

Мрачный денек. Дождь поливает, как из шланга. Топай тут в сапогах. Мучается старшина Матусевич. Со мной неприветлив. Разговаривает резкими фразами:

– Гад Тищенко – зачем тебя прислал? Некуда ему людей девать... Со-о-бор! Чего в нем? Целый день экскурсии. Налетают, как вороны. Ах, красота! Ах, архитектура! – Матусевич в ожесточении плюет на паперть. – Со-о-бор! Религия была. Теперь тут сплошной атеизм. Музей сделали. Понимать надо – памятник, народное достояние. Экспонаты не лапать. – Матусевич морщится, отворачивается от дождя и ветра. – Не Ташкент. А еще ремонт внутри затеяли. Зарылся бы там где-нибудь. А то – тарарахают с утра дверями на весь собор. Доски таскают, бочки катают. Пойдет гулять сквознячок, засифонит в куполе. Куда денешься?

Пройдя со мной великанскую рощу колонн, Матусевич не без труда открывает массивную, визжащую дверь с бронзовой ручкой. В коридоре тьма, хоть в глаза выстрели. Наконец он нащупывает вторую дверь, и мы попадаем в замкнутый сумрак собора, под его неприветливые пещерные своды. У Матусевича физиономия принимает уныло-свинцовое выражение. Что ж, мне тоже радоваться нечему. Нам предстоит суточное заключение в этом каменном мешке.

На возвышении, к которому ведут ступени, стоит стол, излучает бодрое сияние лампа под жестяной шляпой наподобие гриба. За столом угнездилась вахтенная старушка Софья Семеновна, в пуховом платке и ватнике. Она выдает гигантские железные ключи взбирающимся к ней по ступеням работникам музея. Софья Семеновна жалостливо спрашивает меня:

– За что же тебя сюда, сынок?

С простыми работниками музея и со случайными заходящими людьми, не знающими, что – ремонт, а потому экскурсии отменены, Софья Семеновна сурова, требует пропуск и звонко вразумляет упрямцев под акустическими сводами.

Чтобы не мерзнуть, я странствую по собору, стучаю сапогами, созерцаю иконы и фрески. Иисус Христос смотрит со стены страшными всевидящими глазами. Я отворачиваюсь. Подхожу к реставраторам. Они возятся на полу с каменными плитами, звякают зубильцами.

Матусевич зовет, машет рукой. Иду. Помогаю открывать створы дверей наружу. Сиплые ватники таскают доски. А бандитский ветер, ворвавшись в собор, сырыми холодными пальцами хватает меня за горло. Я кашляю и проклинаю все соборы в мире. Стучаю сапогом о сапог. Кружу по собору, заглядывая во все закоулки.

Смотрю: фанерой отгорожено пространство. Там темно. Валяются обломки скульптур, руки, ноги, мраморы без голов, в пыли, в хламе. В нише странная кровать на львиных лапах. Мрачно блестит позолота. На кровати, как будто спит, целехонькая мраморная красотка. Вот ведь. И не холодно-то ей ничуть.

Матусевич подходит:

– Что? На голых баб заглядываешься? Вишь: Ева!

В течение дня два раза приходил командир отделения Бойцов в своей фуражке с высоким околышем, наподобие стакана, козырек расколот. Громыхал под сводами:

– Ну что, живы еще? Ну и рожи! Как у вяленой воблы. И глаза какие-то бессмысленные. Ничего, в другой обход буду – вы у меня совсем задубеете. Можно будет с пивом закусывать.

Но, видя угрюмую реакцию Матусевича на его скользкие шуточки, Бойцов яростно трясет шариковую ручку, бормочет фигурные выражения, и, торопясь, словно конькобежец на льду, вывести в служебной книжке фразу о благополучии на посту, безжалостно терзает бумагу.

Наконец вечность рабочего дня начинает иссякать. Музейщики и ремонтники потянулись к выходу. Что они, как мумии! Гнать бы их рукояткой пистолета по башке... Они поднимаются по ступеням к тронному возвышению, где восседает Софья Семеновна, и преподносят ей звякающие связки ключей. Софья Семеновна, строго принимает подношения, упрятывает



их в ящик стола, и дарует подносящим жизнь и волю. И те, наконец, воскресают для иной формы существования. Лица расцветают, голоса звенят, жесты становятся грациозны. Это их звездный миг, праздничная вспышка всех чувств в предвкушении свободного вечера. И окрыленные счастливицы исчезают до утра.

Мы с Матусевичем выходим из собора наружу, на широкую паперть, под колонны. Колючий ледяной дождик сечет лицо. Мутно освещают тьму шары фонарей. Невский шумит, вспыхивают фары, ненастье гонит косые фигурки пешеходов.

Спускаемся к каналу. Гранит мокрый, скользкий. Шагаем вокруг здания, смотрим на окна с тусклыми бликами – все ли в сохранности. Обойдя собор, мы опять видим ночной Невский, и уже собираемся укрыться внутри вверенного под нашу охрану объекта. Тут Матусевич заметил сидящую на ступенях девицу с лохматой опущенной головой. Девица что-то бормочет. Рядом, на ступени смутно малиновеет упавший с головы берет.

– Эй, пьянь! – злобно толкает ее Матусевич, – нашла, где устроиться.

Та с трудом поднимает голову, смотрит на Матусевича мутными, ничего не выражающими глазами и икает.

– Только из пеленок, а уж, видно, потаскалась по кобелям, – говорит Матусевич. Сапогом поддает ее малиновый берет и приказывает:

– А ну, бери покрывало и айда со мной. Слышишь, ты, трехрублевая!

Та смотрит на Матусевича, лепечет с наивной расплывающейся улыбкой:

– Мне домой надо. Меня мама ждет, – и снова роняет голову.

Матусевич берет ее за воротник своей ручищей и тащит по ступеням. Она икает и клянется, что ничего у нее нет. Матусевич вскрикивает:

– Молчи, шмара!

Затащив ее внутрь собора, Матусевич начинает допрос:

– Отвечай, где назююкалась, при какой гостинице работаешь, сколько берешь с рыла?

Девица начинает трезветь, она испуганно смотрит на Матусевича широкими зрачками и дрожит.

– Я не понимаю... Мы у подруги... Мне домой надо, на 9-ю линию.

– Что ты мне мозги пачкаешь! – стервенеет Матусевич, – лучше скажи, чистая или, может, с сюрпризом. Лечись потом после тебя.

Девица смотрит на Матусевича, как в гипнозе, глаза расширены до невозможности, в них ужас.

– Может, договоримся, – продолжает Матусевич, – а то – сейчас в отделение. А там ребята, не то, что я. Ласковые ребята. Они тебя враз обработают.

Тут подходит старушка Софья Семеновна:

– Да отпусти ты ее, Вань. Греха потом не оберешься.

Матусевич фыркает в усы, мясистыми багровыми пальцами вращает кружок телефона, вызывает машину из отделения.

Через пять минут появляются, как из-под земли, два сержанта в изжеванных шинелях, с шапками на затылке. Они тащат девицу, как парализованную, ноги ее в розовых сапожках волокутся, царапая носками каменный пол. Лицо девицы в гримасе ужаса повернуто назад.

Софья Семеновна тем временем, разложила на столе под световым кругом лампы газету и на ней всякую снедь.

– Сынки, – говорит Софья Семеновна, – первое средство от холода – покушать. Ну-ка: яички, хлебушко, маслице... Чаек на мяте заварен.

Пужинали.

– Теперь и почивать, – говорит Софья Семеновна, – ты, сынок, поди туда, за фанеру, – говорит она мне, – кроватица-то там, дуру-то мраморную спихни, я тебе ватников дам. Ничего, тепло будет.

В это время раскатились эхом по собору глухие торопливые шаги... Я вздрагиваю и впи-  
ваюсь глазами в темноту. Ничего там не видно. Стоит сплошной мрак.

Матусевич хмыкает:

– Что? Струхнул?

А Софья Семеновна объясняет:

– Крыска это. На прогул вышла. А будто здоровенный мужик башмачищами тукает. А-а-  
кустика! Я тут, сынок, первые года до смерти дрожала. Одна-одинешенька. Теперь уж пятна-  
дцать лет вах-тую. Жизнь тут, можно сказать, прожила. А с вами-то, сынки, милое дело. Вон  
у вас – пистолетины! Да и кто сюда сунется. Разве что окно шибанут камнем...

Тут тарарахнуло над нами вверху, где-то в куполе. Я опять вздрагиваю и задираю голову  
в мрачную, как сапог, темноту.

– Это ничего, – успокаивает Софья Семеновна, – это оконце в куполе на ветру постуки-  
вает.

Гулы умолкли. Тишина. Я иду за фанерную перегородку – малость поспать. Хоть  
инструкция запрещает, а веки-то свинцовые.

Там темнота. Только от окна падает слабый свет. Кровать кажется огромной, как для  
великана. Устраиваюсь на ложе и вытягиваю усталые ноги, брякнув каблуками. Мраморная  
женщина, отодвинутая мной, лежит рядом бесчувственным неподвижным телом. Ее соседство  
меня ничуть не беспокоит. Мрачная музейная пещера погребла меня в глубине первобытных  
времен.

Опять раздаются по камню громopodobные шаги. Крыса! А как будто, по меньшей мере,  
мамонт ходит. До меня теперь не докопаешься, – думаю, – я тут, как в кургане. И начинаю  
проваливаться в сон.

Кто-то толкнул в бок... Открываю глаза, смотрю – та, мраморная. Сидит, обхватив  
колени, зрачки сумрачно поблескивают.

– Эй, лягаш! Или дело делай, или убирайся! – говорит она. Я холодею. Все мои члены  
парализованы. Только сердце колотится с таким грохотом, словно утрамбовочная «баба» заби-  
вает мне в грудь бетонную сваю.

– Ну! – говорит мраморная, – долго я буду ждать?

Мне становится жарко. Как в тропиках. Надо мной стоит Ева с бледным непроницаемым  
лицом, глаза, как бездонные колодцы...

– Да проснись ты, сынок! Не дотолкаешься тебя. Иди скорей, там к тебе начальник при-  
шел, ждет. Утро уже. Да ты что? Никак с этой каменной дурой спал? А вцепился-то, люди  
добрые! Посмотрел бы кто, хороша парочка... Шапку-то поправь, кокарда на затылке.

Меня ждет взводный Тищенко, гордо держа голову, постукивая каблуком и нервно вздер-  
гивая двумя пальцами очки.

– Ну, как ты тут, жив еще? – спрашивает он, пристально глядя на меня сквозь очки, и  
отворачивается.

– Кажись, жив, – хрипло бурчу в ответ, еще не придя в себя от ночного кошмара.

– Охромеев, золотце, слушай, такой парадокс, – бодрым звонким голосом заговаривает  
лейтенант, придвинувшись ко мне и крутя пуговицу у меня на шинели, – Матусевича я на дру-  
гой пост отправил. А на замену тебе прислать некого. Все болеют. Понимаешь, такой парадокс.  
Так что, Охромеев, продержись еще сутки, а? Я тебе, золотце, потом неделю отгула дам.

– Да, но, э...

Тищенко не находит нужным дожидаться большей членораздельности моей речи и быст-  
рой дрыгающей походкой исчезает в дверях.

Ничего! Матусевич дал мне хороший урок! Я обхватываю мраморную Еву за туловище  
и волоку из собора. Гулко бороздят пол ноги Евы. Чего уж. Свалю в канал – и амба.

## Исполнение служебного долга

Комбат Жлоба говорит:

– Бойцы, есть возможность отличиться. Поступил сигнал: этой ночью готовится широкомасштабное преступление на охраняемый нашим батальоном объект государственного значения. Неизвестные лица собираются похитить изделия секретного производства. Тищенко! – обращается, комбат к взводному, – расставь людей. В проходных, по цехам, снаружи, под стенами. Бойцова, Жудяка – в засаду. Вот и Охромееву дай ответственное задание. Пусть себя покажет в настоящем деле. Проведете удачно операцию – каждому премию по окладу. Да не бойтесь оружие применять в соответствии с уставом... Ну, шагом марш!

Что ж, расскажу и об этом сверхсекретном объекте. Каждое утро запыленные автобусы привозят сюда дремотную рабочую массу. Впрочем, ее доставляют сюда четыре раза в сутки, обеспечивая четыре смены непрерывного производства. Люди выгружаются, и тут кончается город и простирается пустыня бурой бесплодной почвы. Железные башни тянут через поле гигантскую высоковольтную сеть. Ржавый трубопровод, коленчато изгибаясь, ползет за горизонт. Шум ветра тут постоянен. Покачиваются чахлые колючие репейники. И в этих беспросветных октябрьских сумерках шум ветра может смениться только шумом дождя. Люди шелестят плащами. Дорога, выложенная бетонными плитами, упирается в колоссальную стену. Внизу – ворота и проходная с вертушкой. Два усатых сержанта в милицейской форме, с автоматами за плечами, мрачно проверяют пропуска, которые должны, помимо всего, иметь особые знаки.

Секретное предприятие занимает своими многоэтажными цехами и сооружениями не меньше квадратного километра площади, ограждено мощной стеной и тщательно охраняется спецстражей.

Электрик Тихомиров машинально двигается в цепочке рабочих людей с поднятыми в руке пропусками. Его трогает за плечо Бойцов:

– Эй, электрическая сила, просыпайся! – говорит он. – Зайдешь ко мне после обеда в караулку. Дело есть.

– Ладно, зайду, – равнодушным машинальным голосом отвечает Тихомиров. Это и есть тот самый осведомитель, который дал знать нам в охрану, что намечается преступление.

В обширном помещении раздевалки ряды пронумерованных железных шкафчиков, тут Тихомиров переоблачается. Теперь на нем безукоризненно белый халат, выстиранный к понедельнику, и такой же белизны колпак на голове. Эту форму обязан носить весь персонал предприятия, от директора до последнего грузчика. У грузчиков, правда, новенькие халаты к концу смены приобретают такой же глиняно-бурый цвет, как и пустынное поле, простирающееся за стенами цехов. В конце смены все без исключения на этом предприятии получают за вредность труда ящики молока в бутылках. Молоко не ограничено, хоть залейся.

Тихомиров, пройдя лабиринт коридоров останавливается у входа в герметическую зону. Тут, у входа, за столом с ярко-красным, можно сказать, пламенным телефоном, восседает еще один страж. Он, как и все, в белом халате и в колпаке, но с погонами и кокардой. Требуется предъявить спецпропуск в гермзону.

Тихомиров вступает под своды секретного изолированного производства. Помещения цехов заливают яркий искусственный свет, блестят металлы механизмов, двигаются люди с сосредоточенными серо-стерильными лицами. Воздух теплый и густ от масляных испарений машин, химических запахов, излучений токов. В сфере герм-зоны дыхание учащается, непрерывный монотонный гул мутит мозг, подступает тошнота. Не зря тут платят работникам большие деньги.

Тихомиров входит в комнату дежурных электриков. Бригадир Иван Федорович говорит Тихомирову:

– Сиди пока. Ребята без тебя справятся. Все равно, от тебя не работа, а один вред. Больше напакостишь, чем сделаешь. Пиши вот лучше в журнал – какие если заявки на ремонт будут. Понял?

– Понял, – зевая, отвечает Тихомиров. Садится на стул. Монотонный рабочий гул гермзоны неудержимо тянет его в сон. Снится ему, что у него голова ослепительная и прозрачная и горит в ней вместо мозга электрический червячок. Повернул Тихомиров свою голову, как лампу в патроне, голова повернулась и потухла, и стала падать с какой-то гигантской высоты – сейчас разобьется вдребезги...

Тихомиров просыпается и судорожно дергается вверх головой, которая уже чуть не перевесила его тело, увлекая к полу.

Работы нет и после обеда. Бригадир отпустил, и Тихомиров направляется в караулку, как ему сказал Бойцов. Караулка находится во дворе, в особом служебном флигеле.

В караульной комнате четыре милиционера стучат за столом костяшками домино. Медведообразный старшина спит на стуле, раскинув ноги в сапогах и свесив голову. Козырек фуражки съехал ему на нос, а мясистая нижняя губа вяло отвисла. Это Жудяк. Утомился он. За отдельным столом с лампой что-то пишет низенький лейтенант в очках. На непокрытой голове блестит, как рубль, небольшая плешь. Взводный Тищенко работает, отчеты пишет.

Бойцов, доиграв партию домино, подходит к Тихомирову:

– Электрическая сила, слушай, ты еще не передумал? Место ведь у нас освободилось. Я уже о тебе говорил. Ну как, согласен?

– Сумею ли, – сомневается Тихомиров.

– Еще как сумеешь. Такой богатырь! – Бойцов усмехается, окидывает взглядом щуплого электрика. – Главное, здоровым воздухом дышать будешь. И капуста солидная. Тут охрана на особом положении. А в гермзоне ты совсем зачухнешь.

– Шура, – обращается Бойцов к Тищенко, – вот этот парень, я тебе говорил.

Взводный отрывается от писанины и булавочно взглядывает сквозь очки на Бойцова:

– Что, премию на пропой зарабатываешь? Посмотрел бы в зеркало. Кирпич твоей морды краше.

Бойцов отводит электрика в сторону:

– Не сокрушайся. Через месяц будешь у нас работать. А пока примерь-ка, – и Бойцов сует ему запасной комплект обмундирования.

И Тихомиров важно примеряет в зеркале то мундир, то плащ, то фуражку с гербом представителя власти.

Бойцов тем временем входит в раж, он командует:

– Теперь повторяй за мной присягу: клянусь беззаветно стоять на страже советского правопорядка и бороться с преступностью не щадя своих сил, а если понадобится, то отдать саму жизнь... Если же я нарушу эту священную клятву, пусть я понесу кару со всей строгостью советского закона...

Тихомиров повторяет механическим голосом, как попугай:

– Клянусь беззаветно... со всей строгостью закона... – голос его бойко звенит под бетонными сводами.

Тищенко не выдерживает:

– Бойцов, прекрати театр! Что, тебе больше заняться нечем? Отправляйся на проходную. Жудяк! Хватит дрыхнуть! Бери Охромеева, пусть он Павлюкова на вышке сменит. Завалите операцию – три шкуры сдеру!

Тихомиров, сознавая свое повышенное социальное значение, облаченный в форму, следует за Бойцовым, в проходную. Он вроде как на испытательной практике. Там, в проходной,

он начинает мрачно и строго проверять пропуска у текущей с обеденного перерыва рабочей массы. Он останавливает своего начальника, бригадира дежурных электриков, и важно говорит:

– Федорыч, пришли какого-нибудь парня лампу вкрутить в проходной поярче. Пропусков не разглядеть.

Бригадир Федорыч смотрит на своего подчиненного, преобразившегося за каких-нибудь полчаса в столь неожиданном виде, и в его широко разинутый от изумления рот вполне можно вставить лампу в 500 ватт.

Предприятие тем временем живет своей жизнью как небольшое самостоятельное государство. Гудят и лязгают цеха, дымят трубы, разъезжаются автоматические створки ворот, выпускаая бронированные грузовики с секретной продукцией.

Ночью я дежурю на вышке. Поглядываю на бетонную стену, ограждающую светлые корпуса цехов от таинственной зловещей черноты осеннего поля. Стена освещается фонарями, ее требуется охранять от преступных происков, посягающих на тайны государства. Шинелка не спасает от пронизывающего ночного холода. Тоскливо шуршит дождик.

Снизу брызнул луч фонарика, и раздается визгливый голос взводного Тищенко:

– Охромеев, а ну, покажись Жив еще?

– Жив, – уныло отзываюсь я.

– Будь начеку, Охромеев. Бди в оба, – говорит взводный.

– Я и так бдю, – отвечаю.

– Что-то в тебе энтузиазма нет, Охромеев. Скажу замполиту, чтобы он тебя малость подзажег идеями строителя коммунизма, – говорит взводный и уходит.

К концу своего 4-х часового дежурства я смертельно продрог от ночного октябрьского холода и каждую минуту смотрю на часы, отворачивая рукав шинели. На стену, которую мне приказано охранять, мне уже начхать. Провалились она в болото!..

Что-то звякнуло. Я вздрогнул. И сразу замечаю на освещенной стене, на фоне ночи отчетливый силуэт человека.

– Стой, стрелять буду! – кричу я.

Но человек бежит в сторону от меня, качаясь на высоте руками. Что делать? Стреляю в воздух. Но и это предупреждение не останавливает неизвестного человека. Тогда я выполняю пункты строжайшей инструкции и, уловив мушкой бегущего человека, как учили, нажимаю спусковой крючок. Человек на стене вздрагивает и, взмахнув руками, как подбитый журавль крыльями, рушится вниз.

На выстрел прибегают, топоча сапогами, Тищенко, Жудяк, Бойцов и прочие.

Тищенко снимает фуражку, блестит под фонарем круглая, как медаль, плешь.

– Ничего, Охромеев, не трясись. Все как надо. Ты исполнил свой служебный долг. Премия, считай, в кармане.

Тищенко надевает фуражку:

– Вот дурак! – обращается он к раненому, – я ж тебя знаю, ты из слесарного цеха. Чего, балда, бежал? И похитил-то всего – старую газету «Правда» у мастера из стола. Зачем, тебе, скажи, газета понадобилась? – недоумевает Тищенко.

– Зачем, зачем? – дразнит Бойцов, – пострять хотел на вольном воздухе. На подтирку, вот зачем.

Матерящегося рабочего положили на носилки из-под цемента и куда-то унесли.

## Покушайте в ресторане

– Жудяк! – кричит визгливым голосом взводный, – отвезешь своего подопечного в «Бриллиант». Пусть его там Дубченко натаскает. Понял?

Что ж. Отправляемся в «Бриллиант».

На подступах к магазину заслон людей южных национальностей. Они пытаются остановить спешащих в магазин, что-то им предлагая.

– Пасутся. – Фиксирует факт Жудяк. – Значит, сегодня дают.

– Как это – дают?

– Наивняк ты, Охромеев! Золото теперь дают, только у кого спец-талоны имеются. Так, с улицы, всякому встречному-поперечному золото теперь не улыбается. Вот эти кучерявые и скупают по двойной цене. Денег-то у них – куры не клюют, а спецталона нема.

Группа азиатов, увидев нас, сторонится, освобождая дорогу. Их красивые агатовые глаза невозмутимо провожают нас, пока мы не скрываемся за дверями магазина.

В зале с зеркальными витринами уютно горит электричество, отражаясь и дробясь самоцветными огоньками. Очередь в кассу, у всех в руках спецталоны. За прилавком симпатичная девушка-продавщица.

Жудяк ищет глазами, загорается злорадством. Прикладывает палец к губам, показывая движением головы. Вижу: в другом конце зала – солидный лысоватый сержант. Он держит фуражку в руке наподобие подноса, и интимно беседует с каким-то низкорослым братом Али-Бабы. Жудяк подкрадывается, прячась за спинами. Неожиданно вынырнув своей усатой тюленьей головой перед оторопевшим сержантом, он спрашивает:

– Дубченко, почему золотишко? Опять двойную цену дерешь?

Дубченко моргает, фуражка-поднос дрожит в руке:

– Не топи! Может, что достать надо – сейчас сделаю.

– Не топи! Да ты за мою доброту кокарду из чистого золота мне отлить должен! – И Жудяк бодает воздух, гневно тряхнув фуражкой на голове. – Сварганишь мне три цепи. Самые крупные. Понял? – заключает Жудяк. Он пишет в постовую книжку, что милиционер Дубченко на месте, и у него на посту все в полном порядке, и никаких замечаний не имеется. Отводит меня в сторону:

– Что ты думаешь, – осведомляет Жудяк, – этот Дубченко еще тот деятель. Ты с ним держи ухо востро. Втянет тебя, зеленого, в какую-нибудь историю. Ну, бывай, Охромеев. Осваивайся тут. Я еще загляну. – Жудяк уходит.

Я смотрю: за прилавками с драгоценностями продавщицы, молоденькие девочки. В кассе взгромоздилась за аппаратом сова в очках.

Дубченко подмигивает мне, говорит кассирше:

– Марья Иванна, тоска-то какая! Хоть бы напал кто. Ух бы я наделал в нем дырок. Как в ситечке!

– Дурак! Накаркаешь! – огрызается Марья Иванна.

Дубченко молодецкато прохаживается по залу, поправляя на боку кобуру с оружием. Облокачивается на прилавок, поглаживает свой пышно-рыжий, свисающий к подбородку ус.

– Маринка, – говорит он симпатичной продавщице в сиреновом служебном халатике, – серьги требуются. С брульянтом. Сообразишь?

– Что я тебе, склад что ли? – цедит Маринка. – Подкатывайся к заведующей. Она ж от тебя тает.

Маринка отворачивается, достает из кармана зеркальце и помадный карандаш и принимает рисовать себе пламенные, как гранат, губы.

Дубченко продолжает обход вверенных ему под охрану помещений. Я сопровождаю. В особой комнате принимаются от населения изделия из драгоценных металлов на комиссию. В коридоре, перед дверью сидят граждане, мирно дожидаясь своей очереди. Обаятельный молодой человек в потертых джинсах горячо убеждает двух женщин, пытаясь рассеять выражение нерешительности на их лицах. Увидев Дубченко, он выпрямляется, широко улыбаясь полным золотых зубов ртом.

– Опять ты тут пасешься? – говорит Дубченко. – Я же предупреждал. Ну, пойдем.

– Сержант. Все понял. Больше ни-ни, – заверяет золотозубый, выйдя вслед за Дубченко на улицу.

– Тебе что, больше всех надо? – спрашивает Дубченко. Места своего не знаешь? Чтоб за десять шагов от магазина ты мне не попался.

– А это? – улыбается перекупщик, потирая большой палец об указательный.

– Что-то ты сегодня такой разговорчивый, – замечает Дубченко, закуривая. – Эх, тоска! И пулнуть-то не в кого. Хоть бы бешеная собака пробежала.

Подкатил белый, сверкающий как рояль, «Фиат». Откинулась дверца. Из машины появляется красивая, средних лет грузинка, горбоносая, с вороненой гривой, пальцы в перстнях.

– Я хочу с Вами па-га-варить, – гордо заявляет она Дубченко. – Атайдем в сторонку. Вчера мою дочурку тут обманули. Продали фальшивый кулон. Девочка сейчас в машине.

Видим: за стеклом «Фиата» мощный бюст дочки и ее пухлое зареванное лицо с блистающей серьгой в виде обруча.

Грузинка продолжает:

– Так вот, дочка узнала его. Вот он, этот мошенник. – И она поводит своим многозначительным глазом в сторону перекупщика. – Надо его задержать. Я отблагодарю.

– Это наша работа, – козыряет Дубченко. И он тут же берет за воротник встревоженного маклака и предлагает пройти с ним в служебную комнату. О сопротивлении не может быть и мысли. Там Дубченко спокойно набирает номер телефона, звонит в отделение – чтобы прислали машину с милицейским нарядом.

– Чучело, – говорит он приунывшему маклаку, – кто ж так работает? Ничего. Не первый раз. Отбояришься. Завтра опять тут ни свет ни заря, как кол, торчать будешь.

Через час снова подъехал великолепный блистающий снежными отблесками «Фиат». Грузинка царственным жестом приглашает Дубченко посидеть с ней две минуты в скверике на скамейке. Я по инерции за ним.

– Ничего. Это моя тень, – говорит он про меня грузинке.

Та раздвинула в улыбке ярко накрашенные губы:

– Я вам очень, очень благодарна. У вас сейчас будет обеденный перерыв. Покушайте чуть-чуть в ресторане, – и она протягивает Дубченко две новенькие, несколько превышающие его месячный заработок, хрустнувшие как дубовые листья, бумажки.

## Омрачение

Началось вручение наград. Полковник Кучумов объявлял фамилию. Вызванный поднялся на сцену, там Кучумов уже встречал его с протянутой в руке медалью за десять или пятнадцать лет безупречной службы, поздравлял и жал руку. Поднялся на сцену и старший сержант Черепов. Кучумов протянул ему в коробочке награду и потряс руку. Вспыхнули магнием фотоаппараты. Держинский в золоченой рамке тоже поздравил потеплевшим взглядом сквозь прищуренные ресницы. Зал, полный сослуживцев, ревел и лупил ладонями. Но Черепов смущен. Дрожащими пальцами раскрыл коробочку. На бронзовом диске медали сияет надпись: 10 лет безупречной службы.

Но что-то невесело смотрит сержант на это блистательное солнышко чести. Не радуется его сердце великолепная медаль. Награду свою он считает незаслуженной. Такой уж чудак, этот сержант. Впрочем, ее можно принять, как священный залог: который будет жечь беспощадным стыдом грудь, пока не совершит, наконец, сержант Черепов настоящий подвиг.

Кроме того, у сержанта полна тяжелым туманом голова, воспаление режет ножом горло, даже трудно глотать воздух. Наверное простудился на дежурстве.

Аплодисменты и награды ветеранам вскоре иссякли. Собрание годовых итогов зычный полковник объявил законченным, и спрятал праздничную, как яблоко, лысину под строгий козырек.

Бурное милицейство, шумя сапогами и скрипя портупеями, вскидывая на головы шапки с гербами, суя в истомленные рты сигареты, выталкивается из зала, растекается по коридорам, дробится на группы и единицы.

Сержант Черепов идет по улице. Нервное лицо, тощий шиповник власти с суровой колкостью глаз. Но... 10 лет в форме блюстителя порядка – это вам не бутафория, не артистические доспехи на час спектакля.

Он идет по набережной у гранитного парапета. Летит с неба то ли снег, то ли дождь, течет по щекам слякоть. Сапоги хлюпают. Промокли. Надо отдать в починку. Дождь штрихует на том берегу скучные желтые здания классицизма, и они тонут в туманной рассветной сырости. Над черным простором реки лениво пролетают чайки. По набережной проносятся с ревом машины, чихают и брызгают гриппозной слякотью. У Черепова тяжелеет свинцом голова и мутится в глазах.

Он проходит мимо двух неподвижных львов, уставившихся на воду, и вступает на мост. Там он сменяет старшину, который устрашал граждан усами, подобными двум седым саблям.

Оставшись один, Черепов начинает с пистолетом на боку охранять это гигантское железобетонное сооружение. Ни души. И машины куда-то провалились. Город словно вымер, он кажется нереальным – свинцовый застывший мираж. Черепов остается один, совсем один в этом мире, который превратился в тоскливую галлюцинацию. И бесцельно сержанту Черепову стеречь этот Мост, это стальное чудовище, соединяющее два берега угрюмого миража. Он – одинокий страж Моста. Или это его свободная воля в мире высших сущностей стережет идею Моста, Города, Государства? И его форма – это эмблема, символ высшей идеи Долга?

Но что-то нехорошо Черепову в этом идеальном мире. Мокрое ненастье хлещет в глаза. И ноги мерзнут в чавкающих водой сапогах. Если бы не эта форменная шинель с погонами на плечах, этот толстый, суконный символ его беззаветного служения, Черепов бы тут и совсем пропал. Воспаление уже сжимает его горло железным ошейником с вонзающимися шипами. И вирус болезни уже властвует у него в крови.

К Черепову подходит высокий тощий мужчина в шапке с висющими собачьими ушами. Глаза в прожилках крови горят мрачным ожесточением.



– Сержант, – хрипит он, – ты мне скажи: когда с наших улиц и площадей сотрут черные имена душегубов?.. Скажи ты мне, сержант, – кричит безумный мужчина, – когда отменят статью об очернительстве партии? Кто мне вернет мои восемь лет? Зачем ты эту форму носишь, сержант?

– Гражданин! Что вам надо? Кто вы такой? – обрывает Черепов нелепую агрессию с неба свалившегося психа.

– Кто я такой?.. Микроб я. Понял? Вирус. Поймай! Попробуй! Охранничек! Стрельни в белый свет, как в копеечку. Не промахнешься!..

Черепов озирается. Никого. Мост тонет в угрюмом тумане, зарешеченном черными полосами дождя.

«Убить микроб – это не подвиг. Это обыкновенное дело», думает Черепов. «А микроб он везде. Что такое человек? Вирус жизни, неутолимость преступлений против порядка природы»...

Сержант расстегивает кобуру, вынимает пистолет, сдвигает флажок предохранителя, лязгает затвором, и, наставив ствол в злорадствующий в его омраченной голове вирус жизни, стреляет себе в мозг.

## Одна ночь

Я шел и шел. Ноги расплзались и чавкали, с трудом влача налипший груз земляной грязи. Кругом было мрачное картофельное поле, перепаханное тракторами. Валялись полумертвые ящики. Совсем стало темнеть, и в сумерках посыпался мелкий противный дождь. Я тяжело дышал, еле тащился. Но небо впереди уже широко освещалось, как розоватый пепел. Город! Густые огоньки большого человеческого общежития оживили меня своим теплым манящим мерцанием. Я сел на ящик, отдышался, сбил с башмаков тяжелые глиняные галоши. И пошел дальше бодрее.

Когда я, наконец, выбрался из мрачной пучины поля на залитый светом городской асфальт, прочный, гладкий, блестящий, словно алмаз, – ноги мои будто сами по себе окрылились удивительной легкостью и отвагой, и я полетел по улице, как греческий бог, обутый в крылатую обувь. Но легкость тела меня обманывала. Через несколько минут мне захотелось прилечь на кровать где-нибудь в теплой сухой комнате, и спать, спать, спать... Все-таки я очень устал.

Передо мной открылась площадь. На площади возвышалась колоссальная арка триумфальных ворот, воздвигнутых когда-то городом в честь легендарной победы отечественного воинства. Тут когда-то торжественно проходили при криках ура боевые, пахнущие порохом колонны. Грозовели знамена... Сверху ворота были украшены конями и воинами в древних доспехах. Металл отливал угрюмой многовековой зеленью.

Когда я вступил под арку, густо затусшеванную темнотой, меня остановил внезапный, как укол, луч фонарика. Два усача ледяными немигающими глазами разглядывали мой облик. На их касках поблескивали эмблемы власти. Они были в форменных плащах цвета октябрьской ночи, их уродливые, как тумбы, сапоги были забрызганы грязью. Сбоку у каждого рельефно фигурировал пистолет в кобуре, с плеча свешивалась на ремешке рация, в руке покачивалась черная, как головня, резиновая дубинка. Патруль.

– Тебя-то нам и надо! – сказал приземистый и сиплый. – Паспорт есть?

Я растерялся и судорожно подал ему из внутреннего кармана книжицу в кожаном переплете.

Приземистый развернул, осветил фонариком.

– А парень-то с юмором, – просипел он, обращаясь к своему длинному собрату. – Что это? – помахал он книжкой с золоченым крестом у меня под носом.

– Это евангелие... – ответил я.

– Ты что, поп, что ли?

– Да нет, я так... Я, видите ли, в каком-то смысле посланец...

– И кто же тебя к нам послал?

– Он...

– А! Он, значит. Ну что ж, и то хлеб. Как говорится, что бог послал. Только вот не послать ли тебя к нему обратно в зад? А? Прямым ходом. Как ты думаешь?

Тут вступил в разговор длинный:

– Что ты его пропагандируешь, Харченко. Ему что в лоб, что по лбу.

– Ну, тогда разоблачайся, – приказал мне Харченко.

Я попытался возражать, но он угрожающе поднял надо мной дубинку:

– Поговори у меня, мозги вышибу! Чтоб ни одной тряпки на тебе не болталось! Все сымай! Понял?

Я стал стаскивать с себя куртку, рубашку, брюки. У башмаков никак не развязывались шнурки... Длинный брал у меня одежду, тщательно шарил пальцами и бросал в кучу у моих

ног. Из куртки он вытянул мой кошелек с небольшой суммой денег, три рубля бумажкой и медная мелочь...

– А, воруя, карманник! – радостно воскликнул длинный, пряча вещественную улику себе за пазуху, – признавайся, где кошелек срезал?

Больше у меня в карманах ничего ценного для них не обнаружилось.

– Что с ним будем? – спросил длинный.

– А купаться пустим. В люк. Пусть поплавает... – отвечал приземистый.

Меня сжал ледяной ужас. Я уже вообразил, как сейчас буду захлебываться в дерьме канализации. Какой конец!..

– Погоди, Харченко, – сказал длинный, – по радиации передают, майор к нам едет, сейчас будет.

Подкатила бронированная машина, лязгнула дверца. Вылез майор, грузный, с густыми, как у медведя, бровями. Вслед за ним выбрались из машины два сержанта в касках, с автоматами. Майор окинул гневным взглядом мой плачевный посинелый вид Адама и закричал:

– Харченко, Чумаков! Мерзавцы! Опять за свое: Я предупреждал. Позор моей седой голове и всему нашему великому государству! Что за бандитские приемы!.. Ребята, отобрать у них оружие! – приказал он двум коренастым сержантам-автоматчикам. – В машину их, под суд, прикладами в шею, в Сибирь, сосну валить. Пора очищать наши ряды от остатков периода нарушения законности!

Потом майор вежливо обратился ко мне:

– А вы, молодой человек, примите всяческие извинения. Давно надо было избавиться от этих чудовищ, да все руки не доходили. Знаете, людей совсем нет. Некому работать. Где найдешь честного беззаветного человека? Вот вы, молодой человек, и замените нам этих двоих негодяев. Не возражайте! Это ваш гражданский долг.

– Василий! – сказал майор внутрь машины, – выдай-ка сюда полный комплект обмундирования.

– Одевайтесь, молодой человек, одевайтесь, – опять повернулся ко мне майор. Живот-то совсем синий. Холодно ведь. Осень. Октябрь уже. Время-то как бежит. Пора, молодой человек, за дело браться.

– Да, но...

– Все формальности потом, – прервал майор. – Фамилия, имя, возраст, биография, анкеты – это все потом, это теперь не важно. С бюрократизмом у нас борьба.

Что было делать? Возражать бесполезно. Автоматчики помогли мне облачиться в доспехи сержанта охраны, накрыли голову каской, привесили к поясу пистолет, вложили в руку дубинку и оставили сторожить гигантские триумфальные ворота на площади. Бронированная машина газанула бензинным чадом, круто развернулась и с ревом унеслась в ярко освещенную улицу.

Я осмотрелся. На площади никого не было. Блестели белые шары фонарей, как луны в черном космическом безлюдьи. Тускло светились кое-где окна зданий, они казались такими далекими, словно на краю вселенной. Зверски хотелось спать. Зевота разверзала мой рот шире, чем триумфальные ворота, которые мне надо было тут охранять. Где приткнуться? Форма скрежетала на мне при каждом движении и была неповоротлива, как скафандр. Я не знал, куда мне деть эту дубину в одной руке, связку звякающих наручников в другой. Наконец, я заметил около стены ворот сторожевую будку. Она была вся стеклянная. Я залез в будку, устроился в кресле и сразу заснул. Но только я уснул, навалился на меня кто-то большой и темный и стал душить. Я очнулся и в ужасе вскинул голову. Сердце колотилось в груди, как кролик в клетке. Тут же за стеклом будки я различил крадущиеся силуэты. Справа крались, пригибаясь к земле, каждый держал в руке какое-то орудие, похожее на молоток. И слева подкрадывались на цыпочках – у каждого в руке поблескивало что-то изогнутое, словно серп. Я закры-

чал, выскочил из будки, и стал размахивать дубиной. Но непонятные бандиты и не подумали испугаться. Тогда я отчаянно засвистел в свой сторожевой свисток, вырвал сбоку пистолет, раздался выстрел. Силуэты оскалились, как крысы и разбежались. Я вздохнул со всхлипом, ноги у меня стали ватные, и я опустил на асфальт.

Опять с ревом вынырнула как из-под земли бронированная машина. Опять лязгнула дверца. Опять вылезли седые медвежьи майорские брови.

– Ты еще жив, сержант! – опешил он. – Обычно на этом посту больше часа не стоят. Трупы увозить не успеваем. Замучились. Что же теперь с тобой делать? Мы тебе замену привезли, а ты живехонек, как голубок. Так не годится. Подобные случаи у нас не предусмотрены. Придется тебя пристрелить.

– Михал Иванович, – сказал утробный голос из машины, – у нас каждый патрон на строгом учете. Истратишь патрон – потом рапортов на километр писать надо для начальства.

– Ну что ж, и напишем, – добродушно отвечал майор.

– В том-то и дело, что не написать. Рапорта-то у нас все еще в понедельник кончились.

– Так что ж с ним тогда делать?

– А заберем его с собой в Управление. Пусть главный решает.

Я возблагодарил судьбу и спасительный голос из машины. Это оказался капитан. У него было как будто никелированное вогнутое лицо. Я даже сначала подумал, что это рупор, в который говорят, чтобы усилить голос военного приказа. Впрочем, он улыбнулся мне вполне приветливо. Да и майор отечески похлопал меня по плечу – ничего, парень, теперь все будет в порядке. Я уже на него не сердился и спросил:

– А что это за люди хотели меня убить? У них были в руках серпы и молотки.

– Это наш трудовой народ.

– За что же они хотели меня убить?

– Видишь ли, друг, они хотят жить без нас.

– Да кто же тогда их будет защищать от грабителей и убийц и всякого преступного сброда?

– В нашей стране, сержант, преступность начисто ликвидирована.

– Как это?

– У нас, понимаешь, экспериментальное государство. Мы в виде опыта объявили всему преступному миру амнистию и обеспечили их законным правом на труд в наших же органах.

– А!..

– Да. Бесплатное обмундирование, бесплатный транспорт, люкс-номера, как в гостиницах для интуристов, право пить и жрать задарма во всех ресторанах, и зарплата, как у министра. Чего еще нужно! Да если бы кто и захотел у нас грабить и убивать – так ведь не из-за чего.

– Это почему же?

– А потому что мы весь прочий трудовой народ уравнили в правах жизни и обеспечили всеми необходимыми благами для счастливого совместного проживания. В нашем государстве, так сказать, совершеннейшая демократия. Самая лучшая в мире.

– Ничего не понимаю. А вы-то тогда зачем?

– Вот дурило. Я же тебе толкую. Мы же весь преступный элемент вобрали, так сказать, внутрь своих органов, взяли весь яд общества на себя, перевариваем теперь, перевоспитываем. Дело-то не скорое. И пускай уж они лучше у нас друг друга иногда чуть-чуть прирежут от скуки, чем опять начнут гулять на свободе. Тут они все-таки под присмотром. Так что в тюрьмах теперь нет никакой необходимости. А кроме того есть у нас еще очень ответственная функция – сохранять в трудовом народе полное равноправие благ. Надо следить, чтобы, так сказать, никто не высовывался. Ни на волосок. Понятно? А кто высовывается – мы того быстренько сбиваем. Теперь ты все понял? Как говорится, и волки сыты, и овцы целы.

– Понял... – отвечал я. – Но почему все-таки хотели меня убить эти с серпами и молотками?

– Сознательность у них низкая, – вздохнул майор. – Они, видишь ли, хотят жить без нас, без органов власти и порядка. Им подавай свободное народоуправление. Но они сами не знают – чего добиваются. Это же абсурд, анархия. Еще никто никогда без нас не обходился. Но все равно, наш город самый лучший в мире...

– А как называется ваш город?

– Содом, – гордо отвечал майор.

Да, красивый город Содом. Великолепный город. Даже и ночью. Прекраснейший в мире город. Мы проезжали каналы, закованные в гранит, освещенные уходящими вдаль фонарями в голубых ореолах. Вода черным-черна, покачивалась в столбах отраженного света. Мы проезжали башни, соединенные циклопическими цепями, грифонов, распростерших тусклое золото крыльев, каменных львов, играющих в мяч, сфинксов с божественно-прекрасными женскими лицами. Серые в ночном воздухе силуэты колоннад, дворцов, соборов, конных неподвижных императоров – бывших властителей города.

Мы поехали по набережной широкой реки в арках мостов. Справа, на том берегу, тускло блестела игла шпилья. К игле прилепился какой-то золотистый крылатый силуэт.

– Что это? – спросил я.

– Это собор Ангела, – охотно отвечал майор.

Слева потянулся роскошный фасад дворца в завитушках барокко, увенчанный аллегорическими скульптурами. За дворцом открылось безлюдное пространство площади. На площади высилась гигантская колонна. На колонне светила крылатая фигура с перстом, грозно указывающим на небо.

– А это что? – опять спросил я.

– А это, товарищ, колонна Второго Ангела, – тоном гида отвечал майор.

– Что все это значит? Первый. Второй. Может, сейчас и третий будет?

– Нет. Третьего не будет. Эти поповские басни давно потеряли всякую актуальность.

– Какие басни?

– Вот темнота необразованная! Ты с неба свалился?

– Да. Как будто...

– Вот-вот, и рожа у тебя какая-то не наша. Может, ты инопланетянин?

– Да, в общем-то можно и так выразиться...

– А парень-то с юмором, а, Василий – обратился майор к капитану, вогнутое лицо которого было похоже на рупор. Капитан блеснул никелированной улыбкой и одобрительно кивнул:

– Ценный кадр.

– Но все-таки, что это за монументы с ангелами?

– Есть, видишь ли, легенда. Будто прилетел в наш город когда-то в допотопные времена посланец. Ну, что-то типа инопланетянина от космической цивилизации. А по-поповски, значит, ангел. А посланец этот был не простой. Короче говоря, ни больше, ни меньше – инспектор из космоса от Самого, от Главного. Видит он, непорядки тут у нас и всеобщая гнусность в народе. Он и предупредил – чтобы срочно исправлялись, и срок дал. Народ, конечно, в штаны наклал от страха, и чтобы ангел не сердился, и сварганили ему этот собор с ангелом на шпилье. Ну, ангел чуток оттаял и улетел... Первое время после него в городе шла срочная перестройка сознания и повышение всеобщей моральности. Добились стопроцентных показателей добра и поголовной радости. Грабить, насиловать, убивать – баста. Страшно, все-таки, – а вдруг Тот, с неба бабахнет! Но время шло, потихоньку все позабыли. Кто прилетал? Зачем прилетал? И такие тут начались безобразия! Жуть! Еще почище прежнего. Тогда сверху не стали больше болтать лишних слов, открыли там свои краники и напустили на наш город потоп. Дождь хлестал целый месяц, как из лопнувшей трубы. Море поднялось и залило весь город, как какую-

нибудь муравьиную кучу. Куда ни посмотри – одна вода, и дождь хлещет. Только торчит из волн башня со шпилем, а на шпиле ангел с перстом. Ну, потом вода ушла. Спасся от потопа один кораблик. Из него по-развелся опять в нашем городе народец. Ну, а потом, как в сказке про попа и собаку.

Была у попа собака,  
и он ее любил.  
Она съела кусок мяса,  
и поп ее убил...

Короче говоря, прошла, может так тышчонка – другая лет, опять явился посланец, опять произвел инспекцию, опять предупреждал – чтобы наконец исправились. Опять все наклали в штаны, соорудили второму ангелу колонну с его изображением – высокую-превысокую до самого неба. И этот ангел убрался обратно в выси. А народ опять скурвился. Опять потоп... И так далее. В общем, все это поповские басни. Религиозный дурман и опиум для народа. Говорят, еще будет третий посланец. Последний! Уж после него всю землю в порошок сотрут и по ветру развеют. Но это уже совсем ахинея. Ты же видишь – у нас поголовное счастье и процветание жизни. Наконец-то мы построили идеальное общество. Это же, так сказать, лучший из миров. Есть, правда, еще кое-какие недоделки. Но это уже нюансы. Так что никаких ангелов – ни первого, ни второго, ни третьего не было, нет и быть не может. Мы сами, можно сказать, государство ангелов.

– Да, как у вас тут интересно, – сказал я. – А этот, на горке, что за всадник с кошачьей головой? Зеленый, как из глины.

– Это наш древний император. Основатель города. И не из глины он, а из меди.

– Ну, значит, это так кажется... А вот еще такое красивое здание с колоннами, а наверху тоже ангелы – только черные, и с книгами...

– Тут, мой дорогой, раньше заседало царское правительство. Теперь тут тоже наш пост. Охраняем архивы истории. Да, – хмыкнул майор, – такой тут был смешной случай, когда стали мы переделывать наше государство. Видишь ли, в этом здании стоял на парадной лестнице бюст императрицы прошлых времен. Большой, я тебе скажу, бюст. Габаритная была женщина. И весь из золота. Высшей пробы. Пять пудов золота. Преступность в те времена цвела у нас, как маков цвет. И вот жил-гулял в городе один замечательный бандит по кличке Гамлет. Бывший артист императорского театра. Любил, гад, красиво работать. И вот, представь, день, на площади туристов тьма, иностранцы с биноклями, фотоаппараты шелкают. Машины потоком. Регулировщик стоит на углу, жезлом дирижирует. Центр города. А во дворце этом как раз правительство заседает, индюки в орденах, решают важные государственные вопросы. И в том числе – как справиться с невиданной волной преступности в стране. В столице уж наводнение. Девятый вал, можно сказать, накатывает. И вот, в это самое время, подшуршала к подъезду роскошная правительственная машина, так и сверкает черным лаком, как башмак какого-нибудь заграничного принца. Взбегает по ступенькам сам Гамлет, наследник датского престола, в белоснежных кружевах по плечам. С ним еще двое при пистолетах и шпагах. Все подумали – кино снимают. А у них – как по нотам. Швейцару и двум охранникам надевают на голову балахоны, связывают и аккуратно кладут у входа. Берут под ручки золотой бюст императрицы, сажают в машину и укатывают, сделав красивый прощальный жест. А! Как работал, мерзавец! Теперь уж таких гениев нет. Так, мелочь. У нас ведь эра ликвидированной преступности. Скучно мы живем, а, Василий? – обратился майор к капитану.

– Ску-у-чно, – утробно отвечал капитан-рупор.

Наша машина свернула на мост и помчалась через широкую ночную реку в пятнах и полосах фонарей. На середине моста машина затормозила. Сбоку я увидел стеклянную сторожевую будку, точно такую же, в какой я ютился у триумфальных ворот.

– Тишина, – сказал майор, и его медвежьи брови встали дыбом.

– Никого, – утробно пробурчал капитан-рупор.

– И на рацию он не отвечал, – сказал, обернувшись, шофер, и его сивые, как сабли усы, чуть не отхватили у меня голову. Так неожиданно близко выросло его лицо.

– Зайченко, Кириллюк! Приготовиться! – приказал майор двум сержантам, громоздившимся сзади, как бронированные сейфы с автоматами.

– Идем с нами, – сказал мне майор, – посмотришь. Тебе надо учиться нашей службе.

Дверь будки была распахнута. И внутри был беспорядок. На столе валялась фуражка с расколотым козырьком, и из-под нее растекалась клейкая лужа крови. Кровь была и на полу. Еще на столе, рядом с фуражкой лежал тяжелый молоток с раздвоенной бородкой для выдергивания гвоздей. А ударная часть молотка блестела, заляпанная свежей пурпурной краской.

– Ну, вот! – вздохнул майор. – И так каждое дежурство. Скоро у нас весь личный состав иссякнет. А ведь каждый раз инструктируем наряд самым тщательным образом: орлы, бди в оба! Не спать! Сами знаете, чем пахнет сон на посту... Какое там! Только примет смену, плюхнется на стул, положит на стол буйную головушку... Тут и подкрадутся, и тюк молотком по башке. Пистолет себе, а труп с моста, рыбам на закусон... Еще и молоток оставят на столе для издевательства.

Майор сурово сдвинул медвежьи брови:

– Кириллюк, – приказал он мощному кубическому сержанту с маленькой круглой головой в каске, – принимай пост. Поспи вот только у меня! – погрозил он поросшим черной шерстью пальцем.

Мы поехали дальше.

– Куда теперь? – спросил саблеусый шофер.

– Гони на кладбище жертв революции! – приказал майор.

Улицы стали некрасивые, дома мрачные, однообразные. Сворачивали несколько раз туда-сюда, потом долго катили по шоссе, справа тянулся чахлый лесок. Наконец, показалась стена, ограждающая кладбище, и закрытые железные ворота.

– Ну-ка, Василий, подай им голос, – сказал майор.

Капитан вытянул свое лицо-рупор, покашлял, и сотряс воздух мощным металлическим голосом:

– Костюков, открывай ворота! Быстро!

Но с кладбища ответил только нечеловеческий вопль. Как будто там кого-то резали. Стало жутко.

– Опять, сволочи, собак мучают. Ну, я предупреждал, – сказал майор.

– Костюков! Сидоренко! Замурую! Насидитесь вы у меня в склепе! – надрывал свой рупор капитан.

Наконец ворота заскрежетали, раздвинулись. В проеме масляно улыбалась физиономия в пышной шапке рыжего меха, одно ухо торчало, загибаясь, с болтающейся тесемкой. На лбу блестела кокарда.

– Костюков, почему шапка не по форме? Так, так. Где ты собак держишь? А ну, веди в вольер.

– Но, товарищ майор, они же при патрулях, по кладбищу ходят. Где же их сейчас отыщешь?

– Помолчи! – угрюмо сказал майор. – Веди! Быстро!

Пройдя аллею уже безлиственных октябрьских деревьев, среди которых смутно белели по сторонам кресты и плиты, мы остановились у кирпичного строения с одиноким светящимся окном. Майор уже хотел толкнуть дверь, но резко повернулся, вглядываясь в сумрак.

– Это у тебя там что? – елеинным голосом спросил майор.

Тут и я заметил висящие на суках продолговатые предметы. Мы подошли. Это оказались освежаванные туши. Еще капала с тихим стуком кровь. Рядом на сучьях мы обнаружили и сохнувшие шкуры.

– Что же это такое? Я тебя спрашиваю? – зарычал майор. – Где псы? Где собачки? Отвечай! За месяц три партии собак сменили. Бандиты, говоришь, шалят? А? Костюков? Отвечай! Где псы? Что ты рот разинул, как могила!

– Что ж отвечать, товарищ майор. Сами видите, – произнес могильным голосом Костюков.

– Где остальной наряд?

– В сторожке.

– А ну, пошли.

Мы очутились в грязном душном помещении. На столе валялся фонарик с треснутым стеклянным лицом. На стене висела старая серая, как из глины, шинель. Из-за стола, где на развернутой газете лежал хлеб и розовые ломтики сала, резко вскочили трое, и, отдавая воинскую честь, приложили руки к пышным, как рыжие облака, шапкам собачьего меха с кокардами на лбу.

– Так. Все ясно, – металлически отчеканил майор. – Пора нам с этой живодерней кончать. Капитан! – обратился он к своему рупорообразному помощнику, – расстрелять!..

– А теперь куда? – спросил шофер.

– А теперь и нам отдохнуть надо. Мы тоже не железные. Газуй в Управление.

Штат Управления занимал все этажи громадного бетонного небоскреба, у которого не было ни одного окна. А, может быть, окна были бронированы, и поэтому их было не отличить от однообразия стены. На площади перед зданием роились в луче прожектора лозунги и транспаранты. Визжали женщины. Качались над головами буквы на кумачовом полотнище:

«Голосуйте за народного депутата Тищенко!»

Сам Тищенко, по-видимому, был тот угрюмый изможденный мужчина, который сидел на стуле, окруженный со всех сторон своими приверженцами.

– Что делает этот человек? Что им нужно? Чего они требуют? – спросил я майора.

– Этот человек голодает. В знак протеста. Голодает он тут, не двигаясь с места, вот уже седьмой день. А требуют они – чтобы их представителя, этого самого голодающего типа, пустили в Управление, в наши ряды на должность: «истинный представитель интересов народа». Что делать – кончится тем, что мы его туда пустим. Но это нам ничем не грозит. Правда, у нас есть уже такой «представитель». Но он их, видишь ли, не устраивает! Продался, говорят. А, впрочем, я тебе по секрету, – и майор наклонился к моему уху: – этот голодающий – наш человек. Мы его в штатское переодели. Выполнит задание – капитана получит.

У мощных бронированных дверей нас ослепили прожектором и тщательно рассмотрели. После этого дверь автоматически раздвинулась, и мы вошли внутрь здания. В караульном помещении майор сдал меня коренастому старшине с широким медным лицом и приплюснутым носом. Казалось, это было не лицо, а большая бронзовая кокарда. Мне стало как-то нехорошо.

– Жрать хочешь? – прохрипела кокарда.

– Да так себе... Я и сам не пойму, хочу я или не хочу.

– Ну, один хрен, пошли, накормлю.

Кокарда повел меня по длинному узкому коридору, мы спустились по ступенькам на нижний этаж, свернули направо, опять пошли по коридору, опять поднялись по ступенькам,



потом ехали на лифте, потом опять коридор, еще сворачивали, еще поднимались. Наконец до меня донесся капустный запах столовой. Там, в зале, за столиком, сидели двое сержантов в расстегнутых мундирах и пили компот.

– Сапогов, накорми парня, – приказал кокарда. – А потом найдешь ему свободную койку.

– Григорьич, не беспокойся. Это мы в один секунд, – откликнулся Сапогов.

И вот я уже хлебал густой жирный борщ и посматривал на второе блюдо, где меня дожидался кусок жареного мяса с картофелем. Пока я ел, Сапогов очень уж пристально разглядывал меня каким-то неприятным масляным взглядом. И вид у него был совершенно уголовный. Мне стало не по себе, и кровь бросилась мне в лицо и в шею. Когда я расправился с пищей, Сапогов, улыбаясь, перемигнулся со своим дружкой и кивнул на меня:

– Ну, куда мы эту красную девицу спать уложим?

Я уже собирался выразить свое возмущение, но Сапогов поманил меня пальцем, и я пошел. Я очень хотел спать. Опять начались блуждания в лабиринтах коридоров. Наконец Сапогов толкнул дверь ногой и ввел меня в комнату, где помещались четыре кровати. На двух спали в форме, в сапогах, с паровозным храпом, со свистом. Две кровати были свободны. На столе горел ночник.

– Выбирай любую, – сказал Сапогов, там все есть, белье чистое. Форму в шкаф вешай.

Сапогов ушел, я разделся и нырнул под одеяло. За стеной шумели пьяные голоса. Рокотала гитара. Я стал погружаться в сон, поплыли образы... И вдруг, словно что-то кольнуло меня в сердце, и я очнулся, и стянул липкую паутину сна. Дверь была приоткрыта, и за ней вполголоса спорили несколько человек. Один говорил: «Его майор привел. Григорьич тоже предупреждал – не трогать». «Что нам твой майор», – говорил второй, «а Григорьич просто старая кокарда». «И так без баб живем», – говорил третий. «Тоже мне идеальное государство. В лагере, пока в уголовниках числились, и то лучше было. А ну, ребята, вставим ему по пистолету в зад...»

Тут я все понял слишком ясно, и когда они бросились на меня, я успел забиться под кровать. Они стали ловить меня руками, и тащить за ногу. Я вырвался и юркнул под другую кровать.

– Тащи его, гада! Степа, не дай ему уйти!... – кричали озверелые содомиты и топотали сапогами. Казалось, их тысячи!

Мне уже удалось выскочить в дверь, и я помчался по коридору, не чуя ног. За мной гнался грохот тысяч сапог. Все! Конеч! Некуда. Впереди тупиковая стена. Что делать? У меня не было даже ножа – чтобы перерезать себе горло. И в полном отчаянии я ударился с ревом всем телом о крашеную в грязно-голубой цвет стену. Она треснула и рассыпалась, как стеклянная, и я полетел наружу, в небо...

Я летел в широком ночном пространстве, набирая высоту, уходя в холодную черноту и мрак. А Город подо мной взрывался и рушился, вскидывая столбы огня; низвергалось с грохотом, как водопад, гигантское здание.

Меня обвевало свободное черное пространство широкого мира, где не маячило в ночи ни одного огонька.

## Человекопад

– Ефрейтор, подъем! На вокзале ночевать нельзя! Дрыхнет, как в казарме, и в ус не дует!

Хрипунов встрепенулся, приподнял голову. Около его жесткого ложа в зале ожидания стоял старик в малиновом женском пальто. Старик был внушителен, покрытое седой щетиной лицо выражало властность. На голове шерстяная шапочка со свисающей у виска кистью. Из-под длинного, до пят пальто виднелись синие-белые спортивные тапочки.

– А куда я пойду? Негде мне. – Хрипунов нехотя оставил лежащее положение, сидел, нахохленный, с поднятым воротником шинели.

– Встать, когда с тобой разговаривает комендант вокзала! – закричал непонятный старик и топнул ногой в спортивном тапочке.

Хрипунов встал, невольно подчиняясь властному голосу, рука у него сама собой потянулась к съехавшей на затылок шапке – отдать честь.

Облаченный в странную форму комендант смягчился.

– Ну, что, дембель-штемпель? Чего тебе в нашем великом городе на Неве понадобилось?

Хрипунов усмехнулся:

– Ясно – чего. Пристроиться бы где. Работенку...

Старик-комендант поиграл кисточкой у своего виска.

– А что ты умеешь? Ракеты с атомными головками пускать?

Упоминание о ракетах задело Хрипунова за незажившее:

– Ра-ке-ты! А ну их на хрен, товарищ комендант! Наелся я ими за два года, во! На колбасу бы их, свиной жирно-железных!

Комендант слушал, поеживаясь в своем несколько потертом и утратившем яркость малиновой краски пальто, снятом напрокат с чьих-то женских плеч.

– Шоферить могу, – заявил Хрипунов, – на худой конец – слесарем-токарем.

Комендант почесал грязным пальцем щетину у себя на щеке:

– Сначала ты мне показался умней, – заметил он. – Нашел занятие для мужчины: подбирать объедки с барского стола, что начальник цеха кинет. – Критически оглядел крепкое, коренастое телосложение Хрипунова. – Хочешь, в телохранители к себе возьму? Дам два пистолета в обе руки. Только должен предупредить: у меня ведь, знаешь, свой взгляд на обязанности телохранителя: будешь идти впереди меня по вокзалу и стрелять во всех подряд, без разбору – малый, старый, инвалид, ветеран, беременная богоматерь или младенец-Иисус в коляске. Пали пулями, не бойся. Всю ответственность беру на себя. Ничего, я думаю, тебе эта работа понравится. Платить буду, как маршалу Советского Союза. Ну, как? Не очень-то привередничай! У меня на это место конкурс объявлен, каждый день приходят, спрашивают, – раздражаясь, закричал комендант и опять уже хотел топнуть ногой в тапочке. Хрипунов затруднялся в ответе, он взирал на коменданта в большом замешательстве.

Привлеченные громким криком, в зал вошли два патрульных милиционера, в ремнях-кобурах, с рациями. При их виде настроение коменданта резко переменилось. Он скинул свой головной убор с кисточкой на пол и пошел вприсядку, сопровождая ее голосистой песней: «Эх, калинка, калинка, малинка моя! В саду ягода-малинка моя!...».

Милиционеры молча подступили к ударившемуся в плясовую стихию коменданту, крепко схватили его под руки и поволокли через зал к выходу. Один из милиционеров, пожилой старшина-усач обернулся:

– Что, солдат, не видал еще такого дива? Вот Калинку-малинку к майору отведем, и ты дуй с нами. Майор с тобой поговорить хочет.

Стражи порядка протащили самозабвенно заливающегося соловьем Калинку-малинку через два проходных зала и втолкнули в комнату милиции. Следом вошел и Хрипунов. В ком-

нате за столом сидел строгий дежурный майор с повязкой. Увидев его, Калинка-малинка закричал плачущим голосом:

– Начальник! За что меня твои холоуи по почкам бьют? Я никому ничего плохого не сделал. Что я, не человек? Да ты знаешь, кто я? Перед вами чемпион по фигурному катанию на льду! У меня золотая медаль! – в диком визге возгласил новоявленный чемпион.

– Ну ты и заливать, Калинка-малинка, – сказал невозмутимый майор. – Не люблю, когда мне лапшу на уши вешают. Ладно. Покажешь медаль – отпустим. Честное милицейское.

Калинка-малинка рванул свою элегантную, позаимствованную у какой-то модницы на зимний сезон покрывало, под которой обнаружилась голая, в татуировках грудь.

– Нету! – завопил он, – стибрили, сволочи! Это они у меня медаль срезали! – бешено тыкал он пальцем в приведших его милиционеров.

– Поговори у меня! – огрызнулся старшина-усач. – Снял шапку с гербом, погладил себя по плешивой голове и опять водрузил шапку на место. – Куда его, Василь Васильич?

– Куда, куда? Как будто не знаешь. На чемпионат фигурного катания. – Майор отвернулся, листал на столе какую-то папку.

Вокзальную знаменитость поволокли обратно на холодок, и он снова принялся исполнять свою, прерываемую пинками, программную песню. «В саду ягода-малинка моя...» – затихало в глубине зала.

Майор сердечно взглянул на Хрипунова:

– Что, гвардеец, пойдешь к нам работать? Жилье дадим, зарплата твердая.

– К вам, так к вам, – дал квакающее, бездумное согласие Хрипунов. Глаза у него были по-лягушачьи выпучены от недавнего зрелища и все еще не вернулись в нормальное состояние.

– Ну, тогда, будь здоров. До скорой встречи. Иди, тебя на улице мотоцикл ждет. В общепит отъезжает – переночевать.

Выйдя из вокзала на улицу, Хрипунов увидел милицейский мотоцикл с коляской. Шофер в шлеме-яйце – готовый к старту космонавт.

– Лезь в люльку! – мотоциклист махнул рукой в могучей кожаной рукавице.

Хрипунов повиновался, устроившись в полулежачем положении в промерзлой коляске. Яйце-головый дал газ, и мотоцикл помчался по ночному городу.

Город казался беспределен, как вселенная, он состоял из множества светлооконных галактик и то разряжался на широких площадях, набережных, и мостах через масляно-огнистые каналы, то опять сгущался в тесных, высотно-коробчатых, жилых кварталах. «Хана копытам», подумал Хрипунов, пытаясь пошевелить окоченелыми пальцами в солдатских башмаках. «Еще пять минут такой прогулки – придется ампутировать».

Дома расступались – идущие на парад, единообразные, в суровых бетонных шинелях армейские колонны, холод нарастал, и на каждом повороте подстерегало дорожно-транспортное происшествие, обещающая превратить двоих седоков в кумачовую кляксу на тротуаре.

Стоп! Мотоцикл замер у протяженного угрюмого здания в десять этажей. Окна голые, без занавесок, блестели лампами и все, как одно, смотрели на Хрипунова, ошеломляя его своей грозной, вызывающей незадернутостью. Мотоциклист тоже, как бы замороженный, с большим любопытством взирал на дом, задрал яйцевидную голову.

– Чего это сегодня в общаге так тихо? Перерезали они там все друг друга, что ли? – проговорил он озадаченно. – Как сюда подъезжаю – так обязательно с этажей кого-нибудь выкидывают. В день полочки сюда ближе, чем на сто метров и не суйся. Тут такой человекопад к вечеру начинается – сохрани меня боже и мое родное министерство внутренних дел! Валяются ребята со всех этажей, от первого до десятого. Тут специально ограждения с красными флажками вокруг здания ставят – чтобы прохожие не пострадали, два вахтера в свистки свистят, предупреждают граждан, чтобы обходили опасное место. И машины «скорой помощи» дежу-

рят всю ночь на подхвате. А сегодня что-то очень уж тихо, – повторил в недоумении мотоциклист. – Ох, чувствует мое сердце, не к добру это!..

Дверь парадной зевала настежь, как разинутый в столбняке рот. Мотоциклист повел Хрипунова внутрь общежития и вверх по лестнице. На ступенях попадались интересные вещи: пуговицы, кокарды, фуражки без козырьков, черствые, заплесневелые огрызки, а то и даже целые батоны, окурки, резинки презервативов. Мотоциклист брезгливо отшвыривал их носком сапога. На полушубке у него медно поблескивали широкие лычки старшего сержанта.

– Никакого проку от уборщиц, – проворчал он. – Казалось бы, – самых страхолюдных берем, все равно, наши жеребцы к себе в комнаты затащат, так что потом неделями не отыскать.

Сверху раздался отчаянный визг, борьба, что-то с шумом рухнуло. Хрипунов и сержант-мотоциклист шарахнулись по сторонам лестницы. Между ними пролетела, оседлав швабру, девушка, в чем мать родила, на лоб нахлобучена милицейская фуражка, козырек закрывал все лицо. Девушку догоняло, грохоча по ступеням, большое цинковое ведро.

– Убью, стерва! – кричал с площадки разъяренный мужской голос. – Часок поспать не даст после дежурства, швабра проклятая! Совсем заездила!..

Голос умолк, хлопнула дверь. Сержант-мотоциклист постоял, подумал, в недоумении почесал затылок.

– Что-то я ее раньше здесь не видел. Новенькая, должно быть, – предположил он.

Поднявшись на площадку, сержант опять остановился, сняв шлем, почесал красный, морщинистый лоб.

– Куда же тебя, солдат, на ночь поместить, чтобы ты у меня дожил до утра целый и невредимый? – размышлял он вслух. – Я-то с тобой тут, понимаешь, не могу. У меня семья, дети. Сын первый год в школу пошел. А двоек уже нахватал, как собака блох. Такой, я тебе скажу, говнюк. Завтра утречком я за тобой заеду, в контору нашу повезу оформляться. Только вот куда ж тебя тут переночевать устроить?..

Сержант все еще чесал свой многомудрый лоб, когда дверь из коридора распахнулась, брякнув о косяк от крепкого ногового удара, и на площадку вывалились три веселых милиционера в смешанной форме одежды. Один держал на плече гитару, как будто дубину. Гитарист этот, капля в каплю, – Сенька Погребняк, корешок хрипуновский.

– Игореха! Ты, что ли? – изумился Погребняк.

– А то кто ж? Вот пришел посмотреть – как ты тут живешь.

Погребняк передал гитару стоявшему рядом с ним милиционеру и бросился обнимать друга.

– Эх, Игореха, счастье моей пороссячьей жизни! Теперь мы с тобой в пару в патруль будем ходить...

Сержант-мотоциклист, сложив ладони, любовался встрече двух боевых друзей-товарищей, лицо у него сияло, как начищенный к строевому смотру сапог.

– Вот и ладушки, – проговорил он умильно. – Сдаю, так сказать, с рук на руки на сохранение, чтоб к утру цел-невредим в наличности был по первому предъявлению. Бумажку надо будет заполнить, контракт подписать на три годика.

– Не волнуйся, Столбов, – потрепал сержанта по плечу Погребняк. – У меня, как в ломбарде. Волос с головы не упадет. А ты к семье катись, сынка нянчить. Пусть он тебя за нос потаскает, козла старого.

Столбов пошел вниз по лестнице, но его все-таки мучило беспокойство, и он еще два раза оглянулся на оставленную компанию, прежде чем исчез из вида.

– Айда ко мне! Обмоем событие! – Игореха, кореш мой незабвенный! – кричал разгоряченный Сенька Погребняк, таща Хрипунова по зашарпанному коридору.

В комнате, обклеенной мрачно-полосатыми обоями, – четыре койки вдоль стен, на постели наспех кинуты мятые покрывала-попоны. С потолка свешивается, даруя уютное соро-

коваттное освещение, лупоглазая лампочка в оригинальном абажуре, устроенном из старой милицейской фуражки. В углу у дверей шкаф, задубелый ветеран с девяностолетним стажем службы, весь, сверху донизу покрытый ножевыми шрамами, пулевыми отверстиями и вмятинами от неизвестных твердых предметов. От шкафа до шпингалета на окне через все помещение протянута бельевая веревка с гирляндой непросушенных, пахучих, как протухшая рыба, носков. Посередине – застеленный газетами стол, полбуханки хлеба, изуверски, в рваных зубцах вскрытая «килька в томате», три стакана.

– Переселенность у нас, – пожаловался Погребняк, усаживая Хрипунова за стол. Сдвинул локтем все, что на столе, освободив место для трапезы. – Но ты, Игореха, не бери в голову. Не твоя это забота. Койка тебе здесь законно будет. Выкинем одного дундука в окно – только и всего. – Погребняк подошел к одной из коек, пошарил в наволочке подушки, словно искал жуку в бредне. – Есть голубушка! – обрадованно закричал он, вытаскивая бутылку водки. Подбрасывал ее и целовал то в один стеклянный бок, то в другой. – Не нашли тебя, кровиночку мою, поганцы сивобрюхие! – приговаривал Погребняк вне себя от радости, поставил бутылку на стол. – Вот мы тебя сейчас и приласкаем, светик ты мой ненаглядный.

Хрипунов снисходительно посмеивался, наблюдая дурачества своего друга.

– Досталось мне тут, Игореха, на первых порах. Ох, досталось! – стал рассказывать Погребняк, когда друзья врезали по стакану. – Одели меня в форму, а на ответственные посты, понимаешь, нельзя ставить и пушку нельзя давать. Спецшколу еще надо, говорят, пройти в городе Пушкине. Поручили Столбову в школу эту отвезти, да по дороге преподать кой-какие практические уроки. Столбов и говорит, зайдем к Лялину, он тут недалеко живет, на Дзержинского. Двадцать пять лет протрубил в рядах правопорядка. Он за час лучше всяких школ тебя подкует... А мне-то что? Ну, идем мы, значит, к этому Лялину. Дом какой-то такой старинный, внутри лестница-винтовуха и перилы медные, чтобы держаться. Раньше-то люди не дураки были – все у них было предусмотрено. Столбов по пути меня настраивает: войдем, не пугайся. У него не квартира, а слесарно-токарная мастерская: станки, верстаки всякие, инструмент. Лялин этот, видишь ли, в свободное от службы время любимым делом занимается. Хобби у него такое: штучки разные мастерит ножички, наручники... Загляденье, я тебе скажу, хоть на всемирную выставку посылай...

– Сенька, не тарахти! – рассердился Хрипунов. – Спать хочу до смерти. Говори, чем вся эта твоя баланда кончилась.

– Сейчас, сейчас, – заторопился Погребняк. – Чем кончилась? Зажали мне башку в слесарных тисках и накачали винищем, так что из всех дырок текло. А потом поставили на пост у Исаакиевского собора, чтоб всю ночь в свисток свистел, бандитов отпугивал от архитектурного сокровища. Это, говорят, испытание молодого сотрудника на стойкость...

– Пустобрех ты, Сенька. И могила тебя не исправит, – встав из-за стола, объявил Хрипунов. – Показывай – на какой лежак кости кинуть.

– А на какой глаз положишь, – отвечал Погребняк. – Вон хоть у окна. Там белье почище, всего-то месяц не меняли.

Хрипунов разделся, и по солдатской привычке аккуратно сложил обмундирование стопочкой на стуле. Распростертый под суровым, плотно обволакивающим шерстяным одеялом, он тут же заснул...

Спал Хрипунов, должно быть, недолго. Свет в комнате погашен, кто-то тряс его за плечо, голос Погребняка:

– Игореха, подъем! Столбов тебя уже оформил. Сейчас в спецшколу повезет.

Разбуженный Хрипунов сидел на постели, ничего не понимая, злился:

– Офонарели вы, что ли? Какая спецшкола посреди ночи? Спать хочу, как покойник.

– Нет, Игореха, нельзя. Потом отоспишься, – упрашивал Погребняк. – Столбов тебя на мотоцикле отвезет. Пока доберетесь и – утро.

Хрипунов взглянул: в проеме дверей молчаливо ждал Столбов в мотоциклетном шлеме. Опять они помчались по ночному городу, сворачивая с улицы на улицу. Затормозили у какого-то дома.

– Заглянем к Лялину, – сказал Столбов. – Заправиться надо перед дальней дорогой.

Подворотня, сырость, кошки. На дверях столбики цифр. Остановились в конце двора, в тупике перед дверью с одной единственной цифрой, намалеванной от руки во всю дверную ширь – это была криво ухмыляющаяся девятка. Столбов пнул створку сапогом, пригласил Хрипунова внутрь.

Лестница-винтовуха, медное перильце. На каждой площадке Хрипунов заглядывал в низкое, запыленное окошко. Там повторял себя золотой, как гигантское яйцо, срезанный нагроможденным морем городских крыш, купол. Исаакиевский собор. Столбов тоже смотрел:

– Ах, ты, халупа позолоченная! – высказывал он свой восторг. – Ну, идем, идем, солдат, Лялин ждет.

На последнем этаже Столбов нажал кнопку. Звонок запищал комариком. В распахнутых дверях – майор с вокзала. Лялин.

– Т-с-с-с! Идите тихо, чтобы жида не видели, – зашептал майор Лялин и повел гостей за собой, бесшумно ступая щегольскими, блестящими сапогами. Пропустив в комнату, закрыл изнутри на ключ. Там – очертания какого-то станка, инструменты на столах.

Столбов и майор Лялин схватили Хрипунова с двух сторон – не вырваться.

– Какой ему курс обучения? – спросил майор Лялин. – Сержантский, офицерскую школу, или, может, сразу академию?

– Офицерскую он, пожалуй, не выдержит, – засомневался Столбов. – Это ж пять закруток. Не голова будет, а блин. Не говоря уж об академии. Жми сержантскую. Это всего две закрутки.

Зажали голову Хрипунова в станок, стали поворачивать стальную ручку. Череп затрещал, глаза полезли из орбит, сознание вот-вот потухнет. Диктующий с учебной трибуны голос:

– Раздел первый. Статья третья. Принципы деятельности органов правопорядка: деятельность органов правопорядка строится на принципах законности, гуманизма, обеспечения прав человека и уважения его личности...

Хрипунов в ужасе вскочил с постели. В комнате было темно. Потом раздался звон разбитого стекла, яростная матерщина, пьяный вопль и шум выброшенного наружу тела. Это, должно быть, начинался человекопад.

## Циркуляр № 12

Лейтенант Глухов посмотрел на часы: 20.00. Развод. Лицо у Глухова суровое, рыжие усики. Глухов раскрыл книгу информации о преступлениях в городе и произнес:

– Приготовьте служебные книжки. Циркуляр номер одиннадцать. Выборгское шоссе, в придорожной канаве обнаружен труп... Записывайте, записывайте, чтобы все подробности были. Проверю.

Старший сержант Зубков молчание не мог выдержать более двух минут. Он зашептал в ухо старшине Овчинникову:

– После смены на рыбалку? А? Крючки, червячки...

– Зубков! – загремел голос лейтенанта. – Записывайте приметы трупа: 30–35 лет, плотного телосложения, лоб высокий с залысинами, брови сросшиеся, глаза голубые, шапка-петушок черного цвета... – отчетливо, неторопливо диктовал лейтенант.

Кот серый в полоску гулял по проходам между столов, терся о сапоги. – Кис-кис, – зашептал Зубков, – хочешь рыбки? Лейтенант Глухов отложил книгу информации.

– Тема развода: задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления. Должны знать назубок. Время поджигает, – и, отвернув рукав мундира, опять посмотрел на часы.

В оружейной комнате получали свои пистолеты и колодки с патронами. Зубков никак не мог извлечь патрон из колодки и кричал:

– Хоть зубами тащи, в медную его мать! Дежурный! Чем жо... за телефоном просиживать – дырки бы в колодках сверлом расточил.

– Тебе не угодишь, – заворчал черноусый и бритоголовый, как черкес, дежурный Хазин. – То у тебя маленькая дырка, то большая. Это, наверное, патрон у тебя к ночи распухает.

Хмурый Овчинников убрал снаряженный пистолет в кобуру, поправил завернувшийся клапан на кармане шинели. Сказал:

– Приснилось: оса в шею ужалила. А жжет, будто в самом деле... – И, морщась, потер толстую шею за воротником.

– Меньше пить надо, – заметил Зубков. – Ты же меры не знаешь. При таких запоях и не то еще причудится! Эх, старшина, старшина!

– И перчатки где-то посеял, – продолжал Овчинников.

Люди в форме вышли на улицу, стали расходиться по своим постам. Зубков и Овчинников – вместе. До охраняемого объекта им недалеко, минут пятнадцать.

Зубков говорил:

– Червяков купил у старика-ханьги – жирные, как сосиски, сам бы ел. Клев-то будет? Как думаешь?

– Будет. Только успевай вытаскивать, – пробурчал немногословный Овчинников.

Поворот. Фонарь. Вывеска. Подмигнула оловянными буквами РЫБА. До места десять шагов, в переулок.

Мутно-зеленый дом, отремонтированный. Резкий запах свежей нитрокраски. Вагончик с лесенкой. Рядом отсвечивали стеклами «Жигули». Шофер спал, прислонясь головой к стенке кабины. Дом заселен, окна веселые. На втором этаже, в обрамлении пышных штор – хрустальным каскадом – люстра.

– Живут! – восхитился Зубков. – Как в музее! Пошел я вчера...

Из темной подворотни появился плотный, коренастый мужчина в куртке, в шапке-петушок черного цвета. Руки обременены увесистыми тюками.

– Постой, – оборвал Овчинников напарника.

– Эй, трудяга, не тяжело нести? Покажи-ка паспорт.

Коренастый опустил тюки, полез в куртку. Рука выскочила обратно, грянул выстрел.

Овчинников схватился за шею и стал садиться. Пальцы, пытаясь удержать кровь, оделись в липкую, красную перчатку.

Второй выстрел последовал за первым, прервав Зубкова на полуслове. С дырой между бровей он уже ничего не мог сказать.

Третий выстрел прозвучал почти одновременно со вторым. Овчинников выдернул из кобуры пистолет и разрядил в темнеющую перед ним фигуру половину обоймы.

«Жигули» за спиной Овчинникова газанули и с бешеной скоростью понеслись по улице.

Утром лейтенант Глухов говорил перед заступавшим на службу нарядом:

– Мать вашу в парашу! Это называется – задержать преступника! Вчера тему развода объявлял. Перестреляли, как птенчиков. Взрослые мужики, пятнадцать лет стажа. Выполняли бы устав, не лежали бы сейчас – один в морге, другой – в госпитале. Записывайте: циркуляр номер двенадцать. Приметы преступника. Нет, трупа, то есть. 30–35 лет, плотного телосложения, коренастый, лоб высокий с залысинами, брови сросшиеся, на голове шапка-петушок черного цвета...

– Да это мы записывали, – заметил кто-то. – Что они, оживают каждый раз, что ли?..

– Разговоры! – крикнул Глухов. – Записывайте, записывайте. Чтоб все подробности были. У каждого проверю. Приметы второго преступника, скрывшегося на машине, не установлены.



## Где Кириллов?

Я ишу сержанта Кириллова. Но его нет. Сегодня строевой смотр. Объявлено: чтобы весь личный состав батальона в 8.00 стоял во дворе, стриженный, отутюженный, с сиянием бодрости в глазах. Чтобы все до одного прибыли под страхом расстрела! Где же Кириллов? Опаздывает? Появится с минуты на минуту? У нас с ним кой-какие счета...

Серые милицейские шеренги во дворе. Шинель, портупея, кобура. Усы, носы. Сверху – непрерывный мокрый снег. Тает, течет, сырые рукава.

– А начальства-то, начальства! Как воронья! – ахает Бубнов, старший сержант, фуражка на затылке. – Может, комиссия из Москвы? – Бубнов возбужден. Подбородок-кактус, небритые колючки.

В начале строя возникает громадный, рыжий лев-майор в окружении свиты. Это новый командир батальона Трофимец. С ним два тощих, высоких капитана и зам по службе лейтенант Голяшкин, плоскотелый, колода с семенящими ножками.

Голяшкин, густо покраснев, кричит команду:

– Ры-ыв-няйсь! Сми-rrp-но! Равнение налево!

Трофимец рявкает

– Здравствуйтесь, товарищи милцнеры!

В ответ раздаётся нестройное, вялое:

– Ав ав ав, – и бессильно обрывается.

Трофимец из рыжего делается багровым – свирепое солнце над асфальтовой пустыней двора.

– Не батальон, а дохлятина какая-то! Мертвые кошки и то оживленной. Ну и служба у вас тут. Уж я вас закручу на все гайки. А ну еще раз:

– Здравствуйтесь, товарищи милцнеры!

Строй на этот раз отвечает более воодушевлено:

– Гав гав гав.

Бубнов тоже разевает рот, беззвучно, имитируя крик, как несчастная похмельная рыба, выброшенная на берег из пучины разгульной ночи.

Комбат Трофимец больше не пытается на свое мощное приветствие получить отзыв соответствующей строевой звучности.

– Да у вас батальон на ладан дышит, – обращается он к Голяшкину. – Не батальон, а кладбище. Какой-то хор мертвецов. Приказываю, лейтенант, в недельный срок провести с лич. составом служебные и строевые занятия. После чего я сам буду принимать зачеты по профессиональной подготовке. Кто не соответствует занимаемой должности советского милцнера, тык скызать, слуги народа – обходной лист в зубы, и прощай, Вася, Петя, Федя, или как там вас еще прозывают, сукиных сынов, разгильдяев, оболтусов, уродов в нашей здоровой семье братских республик! В народном хозяйстве повкалывайте, как папы карлы! От звонка до звонка! Это вам не на посту прохлаждаться, ковыряя в носу, да по телефону с бабенками языком трепать целые сутки – о стыковке на околоземной орбите договариваться!..

Теперь посмотрим внешний вид и готовность к службе. Командуйте, лейтенант.

Голяшкин, ни жив, ни мертв, осипшим задущенным голосом дает команду:

– Первая шеренга – два, вторая – один шаг вперед. Третья – на месте. Достать свистки, служебные книжки, расческу, носовой платок, удостоверение личности в развернутом виде.

– Хамлов, кинь свисток, когда тебя пройдут, – просит в первую шеренгу стоящий сзади сержант Давийло, тыча пальцем в спину тому, кто перед ним – плечистому старшине с кудреватым затылком.

– Боюсь, ах, боюсь! – трясется бочкообразная Мурина, – у меня голова неуставная.

Действительно: вместо форменного котелка с кокардой, что положено по уставу носить в межсезонье женщинам-милиционерам, у нее на голове задорно пламенеет собственноручно связанная на посту, мохнато-шерстяная, как у шотландских гвардейцев, красная шапка. Что будет с комбатом от такого зрелища – трудно предугадать.

Он, в сопровождении свиты, осмотрел первую шеренгу, движется по второй, грозным взглядом окидывая с кокарды до сапог каждого.

– Это что за явление природы? – возглашает Трофимец, не дойдя до меня двух метров. – Сколько лет в милиции – такого еще не видел! – Он смотрит в ноги Давийло.

Давийло стоит перед комбатом навытяжку, рука к козырьку. Вся его амуниция, казалось бы, в полном порядке: фуражка, шинель, служебная сумка на ремешке, штаны с лампасами. Но вот дальше, там, где кончаются, обтягивая икры, штаны-бриджи, открывается, как неожиданный рельеф местности, вид, лишенных сапог, волосато-голых давийловских лодыжек. Вместо сапог, этой грубой армейской казенщины, на ногах Давийлы – лаково блестящие бальные туфли с кокетливым бантиком-бабочкой.

У Трофимца щеки задергались в тике:

– Вы что, сержант, танец маленьких лебедей тут исполнять решили? – И гневно Голяшкину:

– Распустили людей, лейтенант! Не служба тут у вас, а театр оперы и балета. Так он в следующий раз вообще босиком придет запорожского гопака плясать. На гауптвахту, мерзавца! Чтoб я тут больше его не видел!.. А вам, лейтенант, строгий выговор!

Трофимец приказывает:

– Поворачивайте людей к стенке. Буду стрижку смотреть. Мы патлы им урежем.

Совсем озверев от вида заросших затылков, Трофимец ревет, как голодный лев в пустыне:

– Снять левый сапог, показать носки! Ну, если у кого неуставного цвета, красные, голубые, серо-малиновые в полоску! Живьем в землю тут посередине двора зарюю!

Шеренги стоят, одноногие цапли, согнув левую в колене и вытянув напоказ ступню в сером уставном носке. Под мышкой сапог. Я тоже стою, смотрю украдкой в конец шеренги: не появился ли Кириллов.

Справа, бок в бок старшина Павлов. Форму – боготворит. Командование всегда его в образец ставит. Безукоризненное снаряжение. Сапоги – хоть на витрину. Выправка, солидность. Эта форма присуща Павлову, как кожа присуща телу. Его невозможно представить без нее. В форме представителя власти Павлов так внушителен, так величественно держит голову, что на его монолитных плечах вместо полосок старшины чудятся маршальские орлы. Эту форму Павлов считает наилучшей в мире. Бубнов про него рассказал случай: Павлов, важный, как индюк, при всех регалиях, остановил собственную жену, спешившую в магазин за продуктами (жена перебежала дорогу на красный свет семафора) и, не обращая внимания на ее возмущенные протесты, хладнокровно добился уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения. С тех пор Павлов один. И никто не видит его в иной одежде, кроме формы и в быту, и в гостях, и на прогулке.

Но где же Кириллов? Он мне позарез нужен. Не люблю быть в долгу. Пора рассчитаться...

Смотр кончился. Теперь нас повезут в автобусах в стрелковый тир.

– Целиться под восьмерку! Плавнo нажимайте спусковой крючок. Плавнo! Тогда попадание обеспечено, – поет зам по службе лейтенант Голяшкин. – На огневой рубеж шагом марш!

Мурина бледная, как сама смерть. Глаза во все лицо – два омута слепого ужаса.

– Ох, боюсь! Боюсь я! пистолет трясется в ее руке, как будто она держит жабу.

Из шеренги раздаются голоса:

– Первый к стрельбе готов. Второй готов. Пятый готов. Десятый.

– По мишеням огонь! – командует Голяшкин.

– Прекратить огонь! – вопит бешеным голосом Голяшкин. – Мурина, ты куда стреляешь?

Мурина поворачивается, ее глаза закрыты, лицо меловой статуи. Пистолет трясется в ее руке, как лихорадочный, и направлен прямо в грудь лейтенанту. У Голяшкина отвисает челюсть. Он хрипит:

– Мурина, брось пистолет. Брось сейчас же!

Мурина пробует стряхнуть клещом вцепившийся в пальцы пистолет. Но избавиться от этой зловредной железяки ей никак не удастся, пистолет дергается вверх, вниз и, огрызаясь, начинает палить в пол, под ноги Голяшкину. Тот пляшет, бойко отбивая чечетку с темпераментом испанца в милийском сомбреро и истерически визжит:

– Отнимите у нее пистолет! Сейчас же отнимите!..

Все кончается благополучно. У Муриной отбирают оружие и уводят в бесчувственном состоянии.

Голяшкин возвращает свою челюсть на место, поправляет за козырек съехавшую в пляске фуражку, и мы продолжаем стрельбу.

Отзвучал последний выстрел. Голяшкин командует окрепшим после чудесного спасения голосом:

– К осмотру мишеней бегом марш!

Подбегаю, смотрю: у меня легло ровно в девятки, десятки. Как говорится – кучкой, дырка на дырке, нарисованное пистолетом решето.

Мишень Бубнова рядом с моей – девственно непорочная, непоцелованная ни одной пулей.

– Эх, Бубнов, опять скажешь: кривой пистолет тебе попался! – укоряет Голяшкин. – С такими стрелками у нас все мишени целками останутся.

Бубнов усмехается, почесывает скорлупчатым, желтым от никотина ногтем колючий полуостров своего далеко выдающегося в пространство небритого подбородка. Он ничуть не унывает от неудач со стрельбой. Из ушей торчат пустые гильзы – затычки от грома выстрелов. Сейчас вся эта мука кончится, отпустят на волю, и перед его жаждущим взглядом уже стоит мираж с источником животворящей влаги, бьющей из кранчика пивного ларька.

Бубнов про Кириллова должен знать. Они ж дружки-приятели.

В батальоне завелся вор! То служебная сумка пропадет, то деньги, то шинель, то свисток. А сегодня и запасной магазин с патронами улетучился у Бубнова из кобуры, пока он травил анекдоты в курилке. Бубнов вращает свирепыми глазами, кричит негодующим голосом:

– Только попадись, подонок! Я ему руки поотрубаю. Будет еще одна Венера милосская...

– Лучше четвертовать, – замечает Павлов, сочувственно сморкаясь перед Бубновым в клетчатый носовой платок. Аккуратно складывает, прячет в карман. Потом, обнаружив у себя на рукаве мундира пушинку, сдувает ее.

Голяшкин за столом с грудой бумаг. Встает, требует тишины.

– Кто скажет: какая у нас сегодня тема развода? – с коварной искоркой в глазах задает вопрос Голяшкин.

Все молчат, крепко стиснув губы.

– Опять не знаете. Каждый день повторяю. Что у вас – мозгов нет? Дырки в черепе – сквозняк свистит. Лошадь и то давно бы выучила, а вам за целый год двух фраз не запомнить. Все! Последний раз! Кто не запомнит – без зарплаты останется, – возвышает голос Голяшкин. – Тема развода: основания задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Когда это лицо застигнуто при совершении преступления. Когда очевидцы и потерпевшие прямо укажут на данное лицо. Когда на подозреваемом лице, его одежде, при нем, или в его жилище

будут обнаружены явные следы преступления, как то: следы крови, борьбы, царапины, укусы, огнестрельное и холодное оружие, ножи, ломы, топоры и тому подобное. При наличии иных данных, дающих право подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано лишь в том случае, если покушалось на побег, не имеет постоянного места жительства, или у лица не установлена личность...

Наряд, уставясь страдальчески-сосредоточенными взглядами на лейтенанта, пытается удержать в памяти хоть одно его слово. Я тоже пытаюсь. Но речь Голяшкина льется, как поток бюрократических чернил по бумаге, в котором ныряет, то исчезая, то появляясь вновь, чье-то, лишенное черт, лицо с выпученными от ужаса глазами-кляксами.

Голяшкин продолжает:

– Надо подтянуть показатели. В этом месяце задержаний – кот наплакал. Останемся без премий. И с кадрами напряженка. В батальоне некомплект сорок человек. В полку я и не заикаюсь. За каждого приведенного кадра комполка лично обещает десять дней к отпуску и денежную сумму в размере оклада.

Бубнов после развода рассказывает: я этой курве: ты хоть газетой закройся! А она ни бельмеса. Лыбится до ушей, как будто я ей миллион подарил. Рожа как блин, чухна скуластая...

Господи, ну куда же делся Кириллов? И никому нет дела – где он. В отпуске? В командировке? Перевелся в другое подразделение? Хоть бы кто слово о нем сказал. Молчат, будто Кириллова и на свете не существует. А расспрашивать мне не хотелось бы. Есть на это причины.

Голяшкин, встав из-за вороха бумаг, за тем же столом, в том же помещении, мятый, тусклый, начинает механической скороговоркой:

– Новая тема развода: применение оружия. Разрешается применять оружие против граждан и других опасных животных, угрожающих жизни и здоровью сотрудника милиции, а также при попытке завладения его служебным достоинством с целью изнасилования несовершеннолетних и пытающегося скрыться... – нет, что-то я, кажется, не то, – спохватившись, обрывает свою речь лейтенант и обалдело смотрит на нас. Один ус у него торчит вверх, другой загнут вниз, как отклеенный.

– Все в голове перепуталось, – трет себе лоб Голяшкин. – Кручусь и днем, и ночью, как проклятый...

Мурина меня за рукав:

– Ты бы, Сереженька, хоть часок со мной подежурил. Уж что я с восемнадцати лет на этой работе во внутренних органах повидала!

Мне хотелось бы прервать Мурину и сказать, что меня зовут не Сереженька, но – не удается. Она, загородив проход своим необъятным корпусом и поигрывая глазками, продолжает тараторить:

– Девчонка несмышленная, назначили меня в больницу, сифилитиков охранять. Привели первый раз в палату: ох, мамочка – что я там увидела! Такое, такое! По гроб не забуду! Голые мужики, без всего, и – в карты. А один на кровати, ноги по-турецки, и сам с собой... Ну, ты понимаешь, – хихикает Мурина, – это самое... Фу, гадость. А те – в карты. Хоть бы глазом кто моргнул. – Мурина поглядела на меня с беззастенчивой прямоотой и призывно моргнула подкрашенными ресницами, как бабочка черным крылом, чуть не задев меня по лицу. Я испуганно отшатнулся.

Тот же стол, помещение, молочные трубки люминесцентных ламп. Голяшкин, бодрый, усы нормально горизонтальные, читает информацию о преступлениях: Октябрьский район, нападение на квартиру. В час ночи гражданину Лоту позвонили в дверь, сказали – посланы произвести обыск. Трое в черных капроновых чулках, надетых на голову. Возраст, приблизи-

тельно: 20–30. Рост: 190–200. Применив баллончик со слезоточивым газом, связали и закрыли в ванной. Совершили хищение следующих вещей:

Икона божьей матери с младенцем Христом. Картина с нарисованным средневековым замком работы неизвестного художника. Картина, изображающая наводнение в городе Санкт-Петербурге. Три медальона царского времени. Шкатулка из бронзы, инкрустированная изумрудами. Морские часы в чехле. Ботфорты и подзорная труба, приписываемые Петру Первому.

Преступники скрылись на машине «Волга» неопределенного цвета.

– Вот и ищи-свищи этих ангелочков, – развел руками Голяшкин. – До чего у нас народ гостеприимный, впускают всех без разбора – только в дверь позвони.

Один на дежурстве в пустом многоэтажном здании. Дворец, мрамор, колонны. Зеркало – мрачный прямоугольник, в обрамлении, в бронзовых завитушках барокко. Достая пистолет, сдвигаю флажок предохранителя, щелкаю затвором. Приставляю дуло себе к виску. Сталь миротворно холодит. Палец на спусковом крючке. Пытаюсь нажать: ну же, ну!.. В зеркале страдальческое лицо с глубокой вертикальной морщиной между бровей, милицейский погон – игральная карта смерти. Трагикомизм в злаченом антураже: как будто человек отлить хочет, терпит из последних сил, сейчас обосс... Нет. Не могу. Опускаю руку. Слишком смешно. Колотит дрожь. На виске четко розовеет кружок от дула. Не розовеет – чернеет. Это отнюдь не кружок – это дырка в черепе. Палец проваливается свободно. Мозг можно пощекотать, чтоб он завопил, умирая от смеха. Может быть, все-таки, был выстрел, а я и не заметил? Извлекаю магазин из рукоятки пистолета, считаю патроны: все восемь, полный комплект. Пистолет пуст.

Сменился с дежурства. Спуск в метро Гостинный двор. Люди на встречном эскалаторе, те, что едут из-под земли, все, как один, смотрят на меня, мужчины-женщины, молодые-старые, уроды-красавцы – решают очередями автоматных глаз, как живую мишень. Достигнув спуска, я уже не ощущаю себя одушевленным телом, занимающим мало-мальское пространство, я – сплошная дыра. Сквозняк сквозь меня свистит по залу.

Там – бег толпы, в шубах, в пальто, в пестрых куртках. Толпу пересекает, как рана, кровавый лампас. Что бы это могло значить? Толпа призрачных человечков мчится на фоне монументальных штанов великана-милиционера, поверженного во всю длину подземного зала. Мраморная скульптура? Окаменелость? Может, спит? Мертвенно-голубое лицо, свисающие, как у казака, усы. Что-то знакомое. Где я его видел?.. Ну, конечно: это Кириллов.

Вчера уволили сержанта Курочкина. За аморалку. Он, будучи в гражданской одежде, в свободное от службы время, приставал в городском транспорте к красивым молодым женщинам. Представлялся кинорежиссером. Предлагал взять на пробу для съемок в эротических фильмах. Только, мол, предварительно нужно фигуру осмотреть в оголенном виде – годится для кино, или какой дефект. Одна девица не правильно поняла, стала визжать, что ее изнасиловать хотят. Курочкина загребли в отделение. Девица уперлась, железобетон. Никак не уломать, чтоб отступилась от показаний. Пришлось составить протокол и пустить дело в оборот. Дошло до Большого Дома. В результате несчастного кинолюбителя, не прошло и 24-х часов, уволили из любимых органов внутренних дел, как говорится, пинком под зад.

– Батальон редеет катастрофически – что ни день! – сокрушается на разводе лейтенант Голяшкин. То убьют, то уволят, то сам под машину подвернется, или из окна выпадет. А то и просто так, за здорово живешь, без вести исчезнет. Пойдет погулять, на ночь глядя, и – тютю. Как будто собака языком слизнула. При такой текучке людей не напасешься. С кем же мы службу-то служить будем? – в отчаянии вопрошает Голяшкин.

Стоим кучкой, пытаюсь защититься от ветра у Петроградской стороны Тучкова моста. Ветер с Невы сырой, пронизывает шинели.

Бубнов рассказывает анекдот, яростно жестикулируя обеими руками, вскидывая костистые фейерверки пальцев.

– Приходит Чапаев в цирк, на работу, значит, устраиваться. А директором там Петька. Вот Петька и спрашивает, а какие ты, Василий Иванович, номера показать можешь? А Чапаев ему: вот, к примеру, Петька, такой фокус: выхожу я на сцену, в белых перчатках, в цилиндре...

– Бубнов рассказывает с азартом. Мне противно слушать этот всем известный сюжет, который оканчивается тем, что весь зрительный зал оказывается облит дерьмом из раскрывшегося под куполом цирка дурацкого сундука. Один только фокусник Чапаев, чистенький, во фраке, стоит перед публикой и раскланивается. Затрепанная анекдотчиками шутовская кукла.

– Бубнов, – говорю, – на два слова.

– Ну, чего тебе? – спрашивает он, недовольный, что я прервал его артистическое выступление.

– Что-то Кириллова давненько не видать. Не знаешь – что с ним?

Бубнов смотрит на меня, выпучив глаза в красных прожилках.

– Ты что, с космоса свалился? Он год уже – покойник. Шлепнул какой-то гад ночью вот на этом самом мосту во время дежурства. Поговаривали: кто-то счеты свел. Так и не нашли. Дело темное... Жаль, конечно, Кирюшку. Хороший был парень. Литровку зараз выхлебывал, не морщась...

Мероприятие закончено. Ночь. Все ушли. Я на мосту один – дежурить до утра. Иду к будке. В двух метрах от нее лежит ничком человек в милицейской шинели, сержант. Спина расстрелянная, рваная. Пули легли кучно. Бурая, запекшаяся кора крови. Эх, Кириллов, Кириллов! Ошибки быть не может: это – он.

## Зверь Апокалипсиса

Задержанный нагло глядел сквозь решетку на сержанта Цымбалова и чесал грязным пальцем голову. Сержант за столом осматривал изъятые у бродяги вещи. Ручка с вечным пером. Сержант покрутил находку у себя перед носом. Вместо капли чернил на кончик пера выползла вошь – громадная, коричнево-красного цвета. Цымбалов выронил ручку. Появление этого зверя Апокалипсиса потрясло своей неожиданностью. Бродяга в стальной клетке теперь неистово скреб брюхо, от него разило помойкой. Зажав рукой нос, Цымбалов крутнул несколько цифр:

– Эй, срочно машину! У меня убийца! – Затем просунул руку в прутья и опрыснул пленника одеколоном. Получилось еще хуже – букет из гвоздик и дохлых кошек. Бродяга, перестав чесаться, изумленно пялился на Цымбалова.

В комнату шумно вошли еще двое: младший сержант Жмырев и молодая цыганка.

– На, обыщи! – цыганка распахнула дорогое кожаное пальто. Жмырев скинул козырек, вытер рукавом замученное лицо.

– Денежки на стол.

– Что я – рожаю их? – смуглощекая, тряхнув серьгами, обиженно застегивалась.

– Не чирикать! – цыкнул на нее Жмырев. – Отопри клеточку, – сказал он Цымбалову. – Пусть посидит в приятном обществе.

Бродяга был польщен. Просунул лапы и, сластолюбиво ухмыляясь щетинистой мордой, воззвал:

– Эх, обниму, к сердцу прижму! – По чумазой шее ползло насекомое.

Бедная девушка, побледнев, попятилась, из ее карманов посыпались толстые пачки денег. Дверь распахнулась от удара сапога. Вступили усачи с автоматами:

– Где убийца?

Цымбалов ткнул в клетку:

– Вот он, красавчик.

Усачи взглянули – усы перекосило.

– Этот? – вопрос прозвучал нетвердо.

– Он самый. Даром отдаем. Вам бы, хлопцы, противогазы.

Усачи увели бродягу, подталкивая дулами. Цымбалов вытянул в кресле квадратные сапоги.

– У меня сегодня день рождения, – объявил он.

– Чего ж ты молчал, урод? – Жмырев достал табличку «Обеденный перерыв» и повесил с наружной стороны двери. – Идем, – сказал он Цымбалову. – Мы тут только время теряем.

– Тихо, как в гробу, – заметил Жмырев, озираясь в квартире. – Жену куда дел? Кокнул?

– В ванне сжег, – признался чистосердечно Цымбалов.

– Зверь! – Жмырев рванул пакет, посыпались зеленые пупырчатые крокодилы. Один пополз, изгибаясь, через комнату и исчез под шкафом. – За твоё здоровье! – кричал Жмырев и лил водку.

Пили, как показалось, недолго. Цымбалов взглянул на окно – непроницаемый мрак. Перевел взор на бутылку – пусто. Жмырев встал.

– Я скоро. Нога здесь, другая – там, – и пропал. У двери одиноко стояла нога сама по себе. Сапог сморщился, но не чихнул.

Цымбалова разбудил грохот, громкий голос Жмырева. Два усача-знакомца наставили автоматы. Между ними широко улыбался Жмырев. На заднем плане маячила полюбившаяся молодая цыганка.

– Скучно, – объяснил Жмырев. – Сначала мы так катались. Потом я вспомнил: у тебя день рождения. Чего жмуришься? Пить, плясать будем! Пир горой! Ребята, заходи! Будьте, как дома.

Заорал страшным голосом магнитофон – певцу сдирали живьем кожу. Усачи мрачно чокались. Цыганочка хохотала, вихляя бедрами. С улицы донесся могучий гудок.

– Это Навуходоносор! – усач распахнул окно и крикнул: – Чего воешь?

– Я тоже хочу! – жалобно заныл Навуходоносор.

– Тебе нельзя, ты за рулем, – возразил усач-автоматчик. – Дежурь на рации.

Барабанная дробь сотрясла дверь, взревел звонок. Цымбалов пошел открывать. Там стояла старуха-соседка в надетом наспех халате, с молотком.

– Долго будет продолжаться этот ад? – осведомилась она. – Милицию вызову!

– Милиция – мы! – отозвались усачи в расстегнутых рубашках, таща за ремень автоматы. – Мы ж тебя бережем, ведьма!

Старуха взмахнула молотком и выбила Цымбалову глаз.

– Тьфу на вас! – закричала она разъяренно и скрылась в своей квартире.

– Сваливаем! – возгласил Цымбалов, держась за изувеченную зеницу. – Сейчас эта Иро-диада легионы бесов сюда пригонит.

Друзья гурьбой сыпанули по лестнице. Утро, светло. У автоматчика ус закрутился штопором.

– Навуходоносор, газуй!

Помчались, воя сиреной и бешено вращая мигалку. Цымбалову сделалось нехорошо. Стоп! Распахнул дверцу.

– Вы, ребята, поезжайте. Я тут воздухом подышу.

– Ключи дай, – попросил Жмырев. – В квартире приберем. – Цымбалов кинул ему связку.

Вернулся с прогулки поздно. Ушибленный глаз заплыл. На звонки не отвечали. Тихо играла музыка. Долго дубасил в дверь кулаком. Наконец, Жмырев, в одежде Адама.

– Цыганочка – высший сорт, – оповестил он, пошатываясь. Цымбалов шагнул в квартиру и не узнал ее: везде раздавленные помидоры.

– Мы тут, как видишь, прибирали, – Жмырев икнул. За ним стояли два невозмутимых усача в той же первозданной форме, что и он сам.

Цыганочка исполняла на ковре сирийский танец.

– Меня в Багдад в ночной бар танцовщицей приглашают? – заявила она, вертя на талии, груди и бедрах одновременно три блестящих обруча. Это было уже слишком.

Цымбалов увидел единственным здоровым глазом: через комнату полз гигантский красно-коричневый зверь, оцетиненный штыко-видными рогами и увешанный автоматами. На бронированных боках брякали пистолеты и револьверы всех систем, существующих в мире: браунинги, люгеры, наганы, кольты. Чудовище повернулось к Цымбалову, скрежеща суставами, и разинуло зубатую пасть.

– Такси! – закричала танцовщица.

Лучезарно улыбаясь, оседлала Зверя и пришпорила пятками. Уносясь, она послала воздушный поцелуй с написанным на нем помадой домашним телефоном. Цымбалов не разобрал ни цифры.



## Семьдесят семь на Марата

Почистим пистолет. Разбираю на части, пальцы работают автоматически. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф паф! Ой-е-ей! Умирает зайчик мой...

Стоп. Пальцы в полном составе, вышколенные, отсутствующих нет. Личное оружие нападения и защиты, предназначенное для поражения противника на коротких расстояниях. Восьмизарядный системы Макарова.

Сборка в обратном порядке. Магазин снаряжен, вставлен в рукоятку. Оружие в кобуру.

В коридоре колонна дверей, одетых в черные кожаные куртки, движется навстречу. Так всегда: яркость ламп, таблички, таблички.

Синие «Жигули».

– Курнем! – кричат собраты по оружию. Гогочут, шлепая себя по ляжкам.

Здания, брызги из-под колес, погода. Пукалка, в слона не попадешь. Это тебе не товарищ Маузер!

Ул. Заслонова, вылезает, план прост: идем к «месту» и ждем «клиента».

Они свистят, у меня мысли. Мутный денек, слякоть. Мы окружены домами. Спортплощадки, огороженные стальной сеткой. Подростки в хоккейных шапочках убирают лопатами сырой снег. Дом-урод, кофейная жижа, рога антенн. Трое нам навстречу: рослая, флотская шинель без погон, башка в грязных бинтах, звякают в обеих руках сумки. За ним – две опухлобагровые бабы в цыганских платках.

Стиснутый амбарами, узкий двор. Кирпич – точно запекшаяся кровь, с карнизов ледяные струи. Двери в нишах, ржавчина, замки-лапти. Два одинаковых каменных крыльца по четыре ступени глядят через двор друг на друга. Над правым вывеска:

### МЕБЕЛЬ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

В конце двора арка, улица, мелькают машины. Через улицу – такая же подворотня, чугуновые ворота. Номер дома – 77. Это и есть улица Марата. Без четверти три. «Клиент» будет с минуты на минуту. Расходимся: они поднимаются на левое крыльцо, я – на правое, с вывеской.

Тот, кого мы ждем, вероятно, появится не один, он приведет двойника. Две бритоголовые уголовные капли в черных кожаных куртках взойдут, один – на одно, второй – на такое же крыльцо, возьмутся за железную ручку и разверзнут перед собой дверь, а за дверями – ку-ку.

В помещении ярко, люстра-хрусталь, зеркала, мягкие кожаные диваны. За прилавком азартно режутся в карты два милиционера, в шинелях, шапки на затылке. Развернув удостоверение, сую в усаые рожи. Они отшатываются, как будто я показал им раскрытую рану.

Поднимаю палец. Шаги на дворе, шум слякоти, плеск капель. Зверь на ловца бежит, тоскливый, не повернуть ему вспять. Бежит в нашу ловушку. Ближе, ближе. Шорх-шорх по ступеням. Пришелец у двери, дышит со свистом. Мы по другую сторону тоненькой перегородки из досок, у нас пистолеты. Момент напряженный.

Пришелец – дерг дверь, черная куртка. Кричу:

– Стой! Стреляю!

Он, слетев с крыльца, стремительно удаляется. Доли секунды – и нырнет под арку, на Марата. Медлить нельзя. Навожу оружие. Хлопок. Валится в лужу.

Он лежит головой в луже, назвать это головой – было бы грубым искажением действительности. В грязной воде плавают розовый медузообразный сгусток. Отворачиваюсь, волна тошноты, черное небо.

## Солдаты в лесу

Чохов застегивал пуговицы чернопогонной шинели. Дембельный сержант Кутько, сидя на табурете, терпеливо ждал.

– Перед смертью не надышишься, сказал дюжий мордач Кутько. – Хоть застегивайся, хоть расстегивайся. В караулке няни тебя давно ждут, не дождутся, запеленают.

В караулке два расторопных сержанта принялись снаряжать Ивана Чохова в ночной наряд. Обули в неповоротливые валенки. Натягивали поверх шинели пудовый тулуп. Чохов, хоть и не слабого телосложения, а зашатался. Приказ комроты Козловича – чтобы часовой не замерз, сторожа склад с боеприпасами. На гладко остриженную под нуль голову – шапку завязали под подбородком по форме четыре, а на шапку водрузили еще и каску, которая тут же съехала на глаза. Один из сержантов бесцеремонным толчком вернул ее на прежнее место и потуже затянул ремешок. Другой облачил чоховские руки в меховые рукавицы и повесил на грудь автомат.

Кутько, который молчаливо присутствовал при снаряжении Чохова, окинул его раздутую фигуру взглядом оценщика. Хмыкнул:

– Порядок! Ну-ка, боец, попробуй, пройдишь маленько.

Чохов пошел к двери, с трудом переставляя валуны-валенки.

Ад мятущихся снежинок. Прожектор на вышке боролся лучистым мечом. Кто там? Лазутчики в маскхалатах? Хлопья в световом конусе крутились бесноватым роем.

Разводящие довели Чохова до охраняемого объекта (длинный кирпичный сарай с амбарными замками на дверях), прислонили к торцовой стене и, убедясь в устойчивости поставленного часового, предупредили:

– Не вздумай дрыхнуть, как лошадь, понял? У нее четыре копыта, а у тебя только два. Заснешь – скопытишься. И вообще: лучше не шевелись.

Ушли, клонясь шинельками, нагнув очурбанные шапками головы, заслоняясь локтями от снега. Чохов остался один.

Фонарь над дверью склада, пятисотваттный, в металлическом каркасе. У Чохова блестяли галоши на валенках, и горел стальной блик на стволе автомата. За углом склада бетонные зубцы, очертания забора в венце ржавых колючек.

За забором что-то темное, шаталось и взмахивало лапами – громадная ель. В сучьях мог прятаться вражеский стрелок, наводя на эстрадно-озаренного часового снайперский прицел с крестиком. Главное – кто первый. Шелохнется тот, качнет веткой, Чохов вскинет автомат и – очередь.

Чохов сплюнул, отвернувшись от ветра. Курнуть бы. Снял рукавицы, полез за пазуху за папиросой и спичками. Прикурить не удавалось, огонек в ладонях-лодочках гас мгновенно, задуваемый из-за плеча. Поискать где потише, за углом склада?..

Достигнув угла, Чохов зацепился за что-то валенком, рухнул навзничь, как подпиленный столб. Попытался встать: ну, ну... Чохов понял: встать он не сможет, пока на нем этот пудового веса тулуп. Надо расстегнуть пуговицы. Пуговицы не давались, хоть их зубами грызи, но зубами не дотянуться. Пальцы как не свои. Сунул опять в рукавицы. Отморозил? Каска при падении наехала на глаза, лишив видимости. Хорошо – на спину брякнулся, а не рылом. Покричать? Волки услышат. А солдаты не услышат. Солдаты в казарме повально спят. «Соловьи, не будите солдат...» И ты, Чохов, не буди. Нечего тебе глотку драть. Умри, как мужчина.

Стало чуть-чуть себя жаль: молодой, здоровый, во цвете девятнадцати лет... Ничего не придумать, да и думать не хотелось. Так он и лежал...

В шуме метели он услышал близкие голоса.

– Говорили тебе: не шевелись, – произнес назидательный голос, по которому можно было узнать Кутько. – Ну, ничего. Не ты первый, не ты последний. Не раз еще тулупчик этот на себя примеришь, пообвыкнешь. Берите его, бойцы, за руки, за ноги, несем молодого обратно в караулку.

В медчасти фельдшер Загрудный смазывая Чохову руки мазью, покачивал цыганской головой:

– Были руки, как руки, а теперь кочерыжки, – сказал он. – Еще бы полчаса поморозил – пришлось бы ампутировать. В лазарет бы тебя, да лазарет у меня полнехонек таких же. Дам тебе освобождение, и дуй в казарму, там и лежи.

Чохов стоял в спальном помещении, держа перед собой забинтованные, как у боксера, кисти рук. До отбоя еще больше часа. Одному из всей роты валяться на койке стыдно, хотя замкомвзвода старший сержант Фальба и не препятствовал.

За спиной вдруг залопотали не по-русски, крича и взвизгивая:

– Калым-малым, алла-мулла, не трогай моя постель, старшина скажу! – Голоса смолкли. Спорщики пришли к мирному урегулированию вопроса.

Раздался треск раздираемого полотна. Чохов обернулся. Двое чурок в углу казармы были заняты важным делом: один держал натянутую простыню, другой рвал у нее край – на воротнички. Красиво гляделось на оторванной полоске армейское клеймо-звездочка. Так и прищипут, чурбаны. Старшине эта звездочка при осмотре сразу в глаза кинется – как быку красная тряпка. Он вчера ревел на весь лес и копытами стучал: «Простыней не напасть, на голых матрасах, свиньи, спать будете!»

Чохову тоже не мешало б освежить воротничок, и он отправился в бытовку.

В бытовке жара, как в бане, – приходи голый с веником и парься. Утюги-танки катались, шипя по опрысканным из защечных резервуаров робам. Ефрейтор Брыкин, вертлявый парень, подшивая воротничок, рассказывал очередную байку. К каждой фразе Брыкин прицеплял любимое культурное словечко, наподобие колючки к овечьему хвосту.

– Еду вечерком на тракторе, трясусь, как квашня. Феноменально! В сельмаг за бутылем. Балда с похмелюги трещит. Феноменально! В шесть тетя Дуся лавочку на замок, а мне через реку, как раку с греком, до моста верст десять. А, думаю: была, не была! Дал газ: мой тракторенок подпрыгнул, да и – на тот берег. Феноменально!..

Машковский, годок, элегантно работая утюгом, предупредил:

– Брыкин, еще одно «феноменально» – и я тебе феноменально утюгом по кастрюле двину!

– Ну, чего ты, чего? – удивился Брыкин. – Слово, как слово. Могу и не употреблять. Плевать мне на него. Я же не досказал, чем кончилось. Подкатываю к сельмагу – закрыт, избушка на курьих ножках, чтоб ему перевернуться. Три замка висят, один другого больше. И четвертый тетя Дуся уже вешает, самый большой замчище, вот такой – что моя голова! Феноменально!..

Брыкин, так и не закончив байку, едва успел увернуться от пущенного в него раскаленного снаряда. Утюг с грохотом врезался в стену. Килограмм десять железа!

Чохов сгорбился, запричитал, юродствуя:

– Солдатики, сыночки! Помогите инвалиду безрукому. Пострадал на службе отечеству. Секретный объект охранял. Помогите ошейник пришить!

– Артист! Молодой да ранний! – засмеялся, счастливо избежавший гибели, Брыкин.

Ночь. Дневальный прокуковал отбой. Свет в спальном помещении погашен. Чохов лежал на койке верхнего яруса, скрестив на груди пострадавшие руки, и думал. Думал он о доме. Второй месяц нет известий...

Сосед Чохова по койке, Федька Каравай, зашептал:

– Чох, не спишь? Ты бы видел, что чурки опять учудили: гимнастерки постирали, а выжимать лень. Мокрые на дворе на веревках развесили. Мороз за ночь, говорят, выжмет, ветерком

обдует. Хорошая халат будет, сухая. Я сейчас нарочно ходил взглянуть: гимнастерки теперь у них – чугун. Так их дедушка-мороз перекрутил – страх смотреть. Фигуры всякие, фантастика! Представляешь, как они гимнастерки свои одевать станут, когда подъем сыграют!.. Одно слово – чурки!

Чохов видел: беззвучный смех раздирал лицо Каравая, заставляя его демонстрировать в темноте два ряда блистательно белых, будто фарфор, зубов.

На нижнем ярусе под Чоховым шевельнулся Кутько. «Деду» не спалось. Срок его службы давно прозвенел серебряным звоночком, но взъевшийся на Кутько комроты за многие провинности задержал до декабря и только вчера смягчился и подписал приказ.

Радостное возбуждение не покидало Кутько, уснуть не было никакой возможности. Он ворочался и вздыхал, не зная – чем себя занять. И вдруг – озарение!

– Чохов, Каравай, Песяк, Уточкин! Подъем! Боевая тревога! – грозно провозгласил побудку Кутько, восседая толстыми, волосатыми ногами на койке, как громовержец.

Босой горох посыпался с верхних коек. Перепуганные, в трусах по колено, встали в струнку перед всемогущим «дедом». Чохов спрыгнул с койки последним, ему было смешно, игра какая-то.

– Духи, слушай мою команду! – продолжал Кутько. – Равняйся, смирно! Равнение на мой палец! – и Кутько поднял свой корявый, как сучок, указательный. – По порядку номеров считайся!

Выслушав переключку, Кутько объявил:

– Испытание вам сейчас будет. Усекаете? Возьми каждый по швабре, а на голову ведро вместо каски. Мне кирзачей на койку побольше. По моей команде бегите на меня в атаку, а я вас этими снарядами подшибать. В кого попадавались, на хрен, на пол. Убит, значит, – никаких разговоров. А кто до меня добежит, да шваброй мне в морду ткнет – тот, значит, прошел испытание с блеском и присуждается ему звание солдата-лешака первой степени!

Взяв в обе руки по увесистому кирзачу, Кутько рявкнул:

– Приготовиться! Марш!

Отряд молодых бойцов, со швабрами наперевес, помчался в атаку на угнездившегося на койке, будто в дзоте, Кутько. Впереди всех бежал вслепую с цинковым ведром на голове Федька Каравай. Меткий кирзач с такой силой угодил ему по бронированному лбу, что тяжело контуженный Каравай зашатался и грохнулся навзничь. Песяк споткнулся о него и тоже лег смертью храбрых. Уточкин упал сам собой, то ли за компанию, то ли от испуга. Только Чохов, которому не досталось ведра на голову, благополучно преодолел огневой рубеж и обмахнул шваброй грозно вытаращенные из-под койки усы Кутько.

– Хватит, хватит, тебе говорю, сукин сын! – страшным голосом заорал Кутько, отбивая настырную швабру. – Размахался, как будто сральник убираешь. Не своя рожа, так и обрадовался!

Последний эпизод боя разбудил спавших, казалось бы, мертвым сном чурок.

– Дай спать, слушай! Спать хочется как зарезанному! – возопили они из своего утла.

Но молить о сне было поздно. В помещение ворвался коренастый капитан, сам комроты Козлович и вlepил здорового леща по шее дневальному, который зачарованно следил за развитием батальных действий.

– Театр из службы устроили! Большой драматический! Мать в портянку! – разорвался Козлович. – И замкомвзводов туда же! Где Фальба? Я с него шкуру спущу!

Фальба, помощник дежурного по роте, плотный, облысый сержант, моргая, стоял перед Козловичем, руки по швам, левый его глаз настороженно мигал.

– Сержант, гоните людей на плац! Косых, хромых, убогих! Всех! Живо! Три круга по морозцу мозги проветрить!..

Чохов бежал по плацу, выдыхая облачка морозного пара. В гимнастерке и сапогах жарко. Снег туманился.

После пробежки в казарме спали крепко.

Ровно в 6.00 дневальный кукарекнул подъем, хлопая себя по бокам руками-крыльями, как исправный петух в курятнике на насесте. Такую символику побудки ввели неиссякаемые на выдумку годки. Плохо выспавшийся Кутько схватил первый подвернувшийся сапог и метнул его в надоедную будильную птицу. Звонкая солдатская зорька захлебнулась на полуслове.

Чохов очнулся то ли от крика, то ли от того, что электричество ударило по глазам. Дом всю ночь снился. Почему нет письма?.. Откинул одеяло, вслед за другими прыгнул с койки.

– Тридцать секунд! – кричал Фальба. Все! Время пошло! Одурело вскакивали с постелей, совались в гимнастерки, в сапоги, обмотав ноги портянками, с ремнями в зубах бежали в коридор строиться. Фальба с часами в руке следил за секундной стрелкой.

– Молодцом! Уложились, – удовлетворенно сказал он. – Заправиться! Равняйся! Смирно! Напра-ву! На физзарядку бегом марш! А ты куда, дурик, со своими культями! – остановил он Чохова. У тебя освобождение. Иди обратно в койку, пока эти кони-жеребчики не набегаются.

Рано радовался Фальба утренней готовности роты. А где же чурки? – вдруг спохватился он и, чуя недоброе, пошел на двор.

А с чурками было вот что: как только прозвучала команда одеваться и строиться – они бросились наружу навестить на дворе свои высушенные морозом гимнастерки.

Там их ожидало зрелище, которое повергло их в полную растерянность. Дедушка-мороз, всю ночь проработав с сырым материалом, проявил недюжинный талант скульптора-сюрреалиста. Гимнастерки было не узнать: они приняли причудливые и устрашающие формы. На Марсе эти монстриальные формообразования, может быть, никого бы и не удивили, нормально вписываясь в марсианский пейзаж, но здесь, на земле, они могли помутить самый крепкий, неподготовленный к таким скачкам воображения, рассудок. Чурки держали в руках закоченелые фигуры, не постигая: что с ними делать. Одна из бывших гимнастеров напоминала фантастический музыкальный инструмент смесь саксофона с гармошкой. На ней можно было бы попытаться что-нибудь сыграть, но надеть ее на себя было бы верхом безумия и самонадеянности.

Чурки заплакали. «Ай, что шайтан наделал!» – говорили они, размазывая по щекам грязные слезы.

Фальба, застав их в таком положении, полюбопытствовал:

– Что это у вас за диковины? Бараны мороженные, что ли? Так, ясно. Дурь есть – ума не надо. Ну, и сидите теперь без завтрака в казарме, пока не оттают. А потом всем кагалом – в столовую, в кухонный наряд, картошку чистить.

Взвода, один за другим, красные, распаренные, задыхающиеся, возвращались с пробежки, скидывали гимнастерки, голые по пояс, с ревом устремлялись занимать места у умывальников и отливальников, толкались, дрались зубными щетками, как на шпагах, лезли к зеркалу, поджимая губы и надувая щеки, пытаясь побрить и себя и затуманенное отражение.

После умывания, заправки коек, построения и безжалостного утреннего осмотра: подворотнички, манжеты, крючки, пуговицы, чистота сапог, стрижка, побритость, – Фальба, наконец, подал зычную команду:

– В колонну по четыре становись! В столовую на завтрак шагом марш! Песню запевай!

Колонна, чеканя кирзовый шаг и запевая походную песню, направилась, овеваемая метелью, через плац в столовую. «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут!..» – самозабвенно, голосистей всех выводил Чохов. Быть ему ротным запевалой – говорили между собой годки. – Соловьиная глотка. Ни у кого в роте такой.

В столовой обнаружили проделки солдатского домового. Командиры давно сбились с ног, отыскивая призрачного мерзавца, с неутомимой методичностью портившего казенную посуду. Едальные орудия опять оказались совершенно непригодны к употреблению. алюми-

ниевые ложки всмятку, беспощадно разможенные ударом каблука. Вилки – не вилки, ерши какие-то, зубцы у них у всех враспор, каждый зубчик отогнут в разные стороны. Кружки, искореженные до неузнаваемости, словно их мяла, как глину, чья-то сильная рука, стараясь придать им более изысканную форму; теперь из этих посуды мог напиться разве что таракан.

Рота взбунтовалась, яростно застучала кулаками по столам, требуя заменить испорченные столовые принадлежности.

– Жрите так! Сапогами хлебайте! – крикнул, выглянув из выда-вального окошка повар Дрекулов. – Нету у меня больше ложек, нету! Хоть режьте!

Наконец, дежурный по кухне принес ящик с уцелевшими чудом чайными ложечками, и бойцы с удивительной скоростью, будто на приз, принялись грести этими кормежными весельцами пересоленную овсянку в мисках.

Сразу после завтрака замполит старлей Мякота, ворочая толстыми, как сардельки, губами, объявил:

– Хлопцы, слухай сюда! Малый перекур и – на плац. Присягу у молодых бум принимать. Щоб строевым шагом, как на параде! Попробуй у меня кто поволынить: заставлю языком ленокмнату лизать! Поняли?

Мякота, будучи сторонником демократизма, любил обращаться прямо к народу, минуя посредничество младших по чину.

Чохов, обойдя Мякоту, решил достигнуть самого комроты Козловича. Встретить у выхода из офицерской столовой откушавшего хозяина леса. Лес этот, не просто – лес, а запретная зона. Рота, не просто – рота: остаток от полка. Полк был, да пропал в лесах, утонул в болотах, перемер от тоски, от прыщей-фурункулов, с полковником, с бронетехникой. Осталась самая стойкая рота Козловича и полковое знамя в штабе. Козлович связывался по телефону с дивизией, а ему генеральский рык: стой, куда Родина поставила. Хоть мхом обрасти! А не то – трибунал!

– Товарищ капитан, разрешите по личному вопросу! – отчеканил Чохов, вскинув к виску забинтованную руку.

– Ну, чего у тебя там? – спросил, ковыряя спичкой в зубах, Козлович.

Чохов ему – так и так.

– Я тебя понимаю, – выразил сочувствие Козлович. – Очень даже я тебя, рядовой Чохов, понимаю. Что я, не человек? Я тоже человек, такой же, как и ты – из мяса и костей. Скажу, не хвастаясь: человек я неплохой, хоть, может, и не с большой буквы. Но пойми и ты меня, Чохов, мать в портянку! Едва месяц прослужил, присягу не принял, а в отпуск уже просишься. Тоска смертная у него по дому, видишь ли. У всех у нас тут тоска. Ничего, живем, не вешаемся. Я тебе скажу, как мужчина мужчине: не киселься. Мать в портянку!

Козлович посмотрел на часы:

– Все. Прием закончен. Строиться.

Торжественное событие близилось. Строй, разруганные лица. Снег с сухим шорохом сыпался по плацу. Замерев в передней шеренге, Чохов уныло смотрел вдаль, за ложбину, на лесистые сопки.

Гулко раскатилась по плацу барабанная дробь.

– Разворачивайте знамя! возгласил командно-звонким голосом Козлович.

Знаменосцы развернули ало-бархатную, с золотыми кистями, святыню. Что это?.. Посередине знамени ошеломительно зияла громадная дыра. Она хохотала нахальным квадратным ртом в лицо комроты.

У Козловича челюсть отвисла, как сломанный курок.

– Чьих поганых рук это дело? – закричал он. – Разве это армия? Это помойное ведро! Сукины сыны, ублюдки! Вы – все! Все до одного! – Козлович, бледный, страшный, как сию-

минутный мертвец, рука лихорадочно искала сбоку, царапала кобуру. – Только и остается – пулю в лоб, – потерянно озираясь, проговорил комроты.

Строй стоял, боясь показать свои чувства. Годки шушукались: не иначе, Кутько вырезал на дембельный альбом, на обложку.

– Да я сам видел, – уверял Машковский. – Шикарный альбомец.

Присягу отменили, изуродованное знамя унесли. Чохов об этом не думал. Думал он махнуть на лыжах до дома. Не догонят. Как грусть-тоску развеять до вечера? Куда крестьянину податься? Посмотреть телевизор в ленкомнате? Там годки...

Годки перед телевизором сидели непроницаемым для молодых полукружием-подковой. Взирали на экран с фильмом. Это у них называлось: упасть в ящик. Взирали они неподвижно, не моргая. Попробуй шевельни головой – рывкнут все как один: не верти жалом!

Машковский, как всегда, элегантно, полулежа на стуле, вытянул длинные, в модно сморщенных сапогах ноги. На нем собственного покроя куртка-распашонка, которую он смастерил из обрезанной по хлястик шинели. Чохов, незамеченный, одиноко устроился во втором ряду.

Дверь настезь перед новым посетителем. Это вступал в комнату Кутько. Станный он, с загадочной улыбкой усатой Моны Лизы. Подойдя к бюсту Ильича на постаменте в правом углу, Кутько оглянулся: нет ли офицеров, и, скорчив свирепую гримасу, в молниеносном пируэте сапогом вождю по переносице – на, получай! И пошел, опустив глаза, со смиренно-постным видом.

Подсел, похлопал Чохова по плечу:

– Прощание с ротой у меня! – радостно заговорил он. – А завтра – фью! Улетела пташка! А ты парень не нюнься. Воздух тут здоровый. Леса! Звери-росомахи. Прыгает за тобой с елки на елку, а как стемнеет – хрясь! И готов! И сожрет-то только уши. Ну, морду, может, еще объест, лакомка. Остальное медведи-шатуны да волки добирают. В ста шагах от части такая чащоба – лучше и не соваться. И что мы тут стережем – лесий знает... Эх, скучно мне, скучно! – жаловался Куть-ко. – Горит в груди. Чем бы огонь залить? А вот знаю – чем, – хитро подмигнул он и направился исполнять свое таинственное намерение. Плечистый, торс треугольником.

Затылки годков, упавших в ящик. На стене воззвания к молодому солдату: ценою крови защищать отечество. Гипсовый вождь на постаменте, кончик носа испачкан, будто в чернилах.

Мучила изжога – последствие обеденных щей, в которых повар Дрекулов, устав от стряпни, полоскал портянки. Чохов сунул в рот два незабинтованных пальца, и его вырвало разудалым соловьиным свистом.

Годки взвились с кулаками:

– Ты чего? Ты как здесь оказался? Пошел вон, пока грызло не свернуло!

В этот момент входил замполит Мякота, язык розовым лоскутом свисал у него с губы. Очевидно, Мякота хотел облизать вверенное его заботам святилище, любимого Ильича в углу.

Чохов вспомнил: он имеет полное право на постельный режим. Скинул сапоги, влез наверх, распростерся под малогрейным синеньким одеялом, затаился в задумчивости.

– Тащите сюда, мерзавца! – взорвался визгом разъяренный Козлович. Три солдата внесли бесчувственное тело Кутько и свалили на койку.

– Это надо ж так нажраться! Мать в портянку! – комроты в ожесточении пнул сапогом безразличную ногу Кутько. – В гробу в белых тапочках ты теперь дом свой родной увидишь! – и Козлович еще раз хряснул по свешенной кутьковской конечности.

– Бабаев, Кирюков, Мясин! За мной! – скомандовал солдатам Козлович.

В дверях он столкнулся со старшиной Сидориным. Сидорин лихо отмахнул честь.

– Товарищ капитан, списочек. Расход имущества роты за квартал. Год кончается, я и подбил бабки.

Козлович приостановился, повертел в руках предложенный Сидориным список.

– А кто тебе сказал, что это рота? – вдруг проговорил он. – Ну, ну, не пугайся. Я тебе скажу больше: это совсем и не рота...

– А что же это? – тихим голосом, вытаращив рачьи глаза, спросил Сидорин.

– Это не рота, – повторил Козлович. – Это отряд врага. Заслан сюда для диверсионных целей. Под наших замаскировались, сволочи!

Козлович вернул листок ошарашенному старшине и покинул помещение, сопровождаемый караульной командой. Старшина последовал за ними.

Чохов откинул с головы одеяло, оглянулся. Никого. Дневальный, и тот оставил свой ответственный пост и куда-то исчез.

Кутько спал мертвецки, раскрыв широкую амбразуру ротовой полости. Не пошевелится, если бы даже сыграла ему сейчас подъем, гаркнув в самое ухо, труба страшного суда.

Пружинисто спрыгнув, Чохов не стал мешкать. У Кутько воинский билет. Поменяться шинелями...

Лес. Великаны-ели, на лапах примерзли куски снежного сала. Протягивали голодному Чехову. С трудом выдернул ногу, снег набился в сапог. Озирался: куда дальше?

Раздвинул хвойный шатер: перед ним Фальба и два солдата на лыжах, с автоматами.



## Поиски

– Эй, солдат, просыпайся! Ленинград!

Живцов посмотрел: вагон пуст. Надо выбирать.

Декабрь, до рассвета часа три. Промозгло, платформа. Финляндский вокзал. Пассажиры схлынули за музейный паровозик в стекле на перроне. Город там?..

Живцов провел ладонью по щеке – наждак, суточная небритость. Сплюнуть нечем – сухота. Пузырь разрывается. На плечах – лычки, младший сержант. Письмо, адрес, ну ладно. Платформа качнулась, поползла, Живцов, приободрясь, отталкивал ее каблуками, и она покорно уплывала за спину, сокращая неизвестность. Кончилась, уперлась в протяженный короб вокзала.

В зале стоял монументальный гул толпы. Невыветренный за ночь. Зал был пустынен. По его диагонали двигалась коренастая мужская фигура в распахнутом пальто. Двигалась к окошечку кассы с задернутой белой шторкой. Подошел и требовательно застучал по стеклу костистым согнутым пальцем. Завешенное окошко безответно. Человек, опустив большую, плешистую голову, что-то бормоча, пошел прочь. Смятая кепка в руке. Калмыцкие скулы, бородка.

Живцов стал озираться в поисках буквы «М».

У газетного киоска: валенки в галошах, ватные штаны, ватник, рыжая шапка-ушанка, ящик на ремне, ледоруб.

– Рыбак, где тут?..

Ловец рыб, примерзший к газетному киоску, вздрогнул. Улыбка взволновала лицо.

– Идем, покажу! Отслужил, парень?

Живцов кивнул.

– Припозднился, пехотинец. У комроты в черном списке? – рыбак засмеялся, показав прокуренные зубы.

Живцов вернулся через пять минут легкой походкой. Рыбак поджидал у выхода.

– Куда теперь, гвардеец?

– Туда. – Живцов неопределенно мотнул головой в сторону города.

– Родня, знакомые?

Из мятой пачки рыбака Живцов выудил папиросу, прикурил, всосал глубокую затяжку.

– Навещу кой-кого. – Следил за воздушной табачной струйкой. Туман.

Рыбак придвинулся, глаза горели. Бесцеремонно хлопнул Живцова по плечу:

– Обогреемся, солдат! У меня в ящике полный набор. Не могу один...

Живцов отстранил пропахшую рыбой руку.

– В другой раз. У меня адрес...

Рыбак, разочарованный, словно у него сорвался с крючка лещ или окунь, мрачно взглянул на протянутый конверт:

– Двадцать восьмой автобус. Остановка – как выйдешь с вокзала. И до кольца.

Площадь, огни, убеленный снежком чугунный коренастый памятник. Кучка людей у автобусной остановки. Правый карман шинели отягощает цилиндрическая штуковина с ручкой. В левом – монетка. Вся наличность. То, что было, ушло за один вечер.

Возник откуда-то сбоку, из темноты, силуэт Людовоз. Раскрыл скрипучие дверцы.

Народу, мужчины-женщины, невыспанное, бесполое. Трудяги. Живцов стоял, стиснутый, на задней площадке. Во льду окно. Лунка. Приложить глаз: цепочка мутных огней.

Шофер объявлял остановки. Арсенальная набережная – как арестантская. Правый карман оттопыривается.

Кольцо. Три человека пропали – подхваченные ветром снежинки. И спросить не успел... Озирался. Ревущее шоссе, улица – в сумеречную даль. Адрес на конверте: улица Т...

Дома из блоков, стандарт, десять этажей стекла, бетона. Таблички с номерами. Рассвет едва начинался.

Машина-чистильщик, опустив железную челюсть, убирала снег с дороги. Другая машина, гребя лапами, нагружала ползущий вверх конвейер, и снег сыпался грязной стружкой в кузов грузовика. Живцов стал кричать чудовищам: далеко ли дом такой-то? Но в кабинах угрюмые шоферы ничего не слышали.

Через квартал – гуськом длинная очередь. Стояли за водкой. Нарастало возбуждение. Кто-то кинул шутку, как камешек, и по очереди прокатилась волна гоготанья. Перед магазином два потертых ватника выгружали ящики из фургона. Ящики звякали, водка «Московская».

Пивной ларь похабно выставял из окошка свой нержавеющий кранчик. Живцов не мог терпеть, достал двадцатикопеечную монету.

– Что, солдат, мочи захотел? – крикнул мужик из водочной очереди. Вокруг него разразился взрыв хохота.

Шутивший обладал привлекательной внешностью: один глаз глядел широко и боевито, другой – тусклая бусинка в сизо-багровом пироге разбухшего века.

Живцов сделал заказ:

– Холодного на всю сумму.

Толстомордая баба в халате поверх фуфайки нацедила кружку.

С первого же глотка Живцов понял: шутник из очереди – это пострадавший за бесстрашную правду пророк.

– Чем, крыса, поишь?

Торговка, ужаленная шилом в зад, подскочила на табурете и завизжала:

– С завода! Свежайшее! Откуда я тебе лучше возьму!

Живцов выплеснул содержимое кружки обратно в окошко и пошел.

– Милиция! Милиция! – звала оскорбленная хулиганским действием. Желтая жидкость текла по толстым щекам, как ручьи слез.

В водочной очереди поступок Живцова вызвал бурю восторга.

– Вот это окатил! И в баню не надо! Теперь бы поленом выпарить ее, ведьму!

Живцов спросил у очереди: далеко ли нужный ему дом?

– Да вот он! На тебя смотрит! – пророк с подбитым глазом показал на здание.

Шестой этаж. Дверь, эмалевый кружок с номером сорок семь. Тяжелым, бурым от табака пальцем раздавил кнопку звонка.

Открывать не спешили, разглядывали в глазок.

– Кого надо? – раздался старушечий голос.

– Дарья Макарова здесь живет?

– Живет, не живет. Кому какое дело.

– Мне дело. Письмо – чтобы приехал. Егор Живцов.

– Не знаю, ничего не знаю.

– Послушай, бабуся! Так и будем через дверь? – закричал Живцов. – Где Дарья? Пусть выйдет!

– Дарья, говоришь? Дареному коню в зубы не смотрят. Твой подарочек – ты и разбирайся. Ходят, ходят и день и ночь – все Дарью спрашивают. Никакого покоя на старости лет, – ворчала за дверью старуха.

Живцов в ожесточении плюнул. Рехнулась! Крыша поехала?

– Письмо! – опять закричал он. – Чтоб приехал! Помочь в трудностях, ну и, вообще... Да где она? Увидеть – во как надо! Два года переписывались.

– А где я ее тебе возьму? Третий день не является. Записку оставила. Погоди, сейчас принесу, – старуха зашаркала в глубь квартиры.

Вернулась. Опять тщательно рассматривала в глазок:

– Страшный ты. Как тебя пустить. Чего доброго и убьешь. Через цепочку просуну.

Живцов выхватил из щели записку: «Егорушка, приходи к гостинице «Астория» в половине восьмого. Твоя Дарья.»

Снаружи, наконец, рассвело. Тускло. Небо пепельное, в слабых просветах сини. Декабрь, Дарья... В половине восьмого? Вечера?..

Должен был в Ленинград еще в воскресенье. Но зацепился стаканом. Двое суток обмывали окончание службы. Телеграмму не на что было послать – «задерживаюсь.» Так что: записка с назначенным свиданием – трехдневной давности.

У входа в «Асторию» разговор не клеился. Швейцар в золотой фуражке справок не давал и не соглашался пропустить мимо себя к администратору. Зверообразный солдат, дыша перегаром, лезет в гостиницу для иностранцев, да еще и девку себе требует, будто в борделе. С крепкого перепою парень.

Живцов злился, схватил за отвороты ливреи, потряс чурбана в галунах. Дитина в костюме и галстук поспешил швейцару на выручку.

– Девушка тут была три дня назад, – заявил Живцов новому действующему лицу. – Вечером, в половине восьмого.

Дитина-охранник, руки в брюках, челюсти фрезеруют жевательную резинку:

– А какая она из себя?

Живцов стал объяснять:

– Волосы до плеч, золотистые. Черный берет. Звать – Дарья...

Охранник, заржав, чуть не подавился резинкой:

– Во рисует! Да у них тут у всех до плеч. И в беретах. Веры, Иры, Марины. А Дарьи ни одной. Чего нет, того нет. Ищи, кирзовый, в другом месте.

– Вот она! – не сдавался Живцов. Рванул шинель. – Ну что? Видел ты эту девушку?

Охранник покосился на фотографию, мотнул головой:

– Нет.

Так. Еще одно место. На Герцена институт.

Живцов не ориентировался в городе. Герцена он зевнул, созерцая мраморную массу Исакия. На Гоголя повернул.

У перекрестка заколебался. Здание в капремонте. Два строителя в касках цепляли тросом бочку. Запах краски, визг сверла. Клоповники обновляют? Золотая игла с корабликом...

Невский. Гастроном-магазин. Столы с колбасами, пестрые пирамиды консервных банок. Засосало в животе, голодные кишки ждали сигнала поднять бунт и заявить о своем возмущении. Ничего не ел со вчерашнего утра. Пирожок, называемый «с мясом» – вся трапеза. Самое время что-нибудь взять на зуб. Живцов кинул на колбасные столы длинный, остро отточенный, как мясницкий нож, взгляд. Пища была недоступна. Продавцы не отдадут даром. Дают за деньги. Наличие денежных знаков после неудачной попытки утолить жажду у пивного ларька можно было бы обозначить астрономической колонной нулей, хоть до бесконечности, но эта армия была лишена своего маршала-предводителя – единицы. С такой армией никто не будет считаться. Оставалось единственное: войти с высоко поднятой гранатой и приказать лечь ниц. В буквальном смысле: лечь на лицо и не поднимать глаз с пола, пока он не выберет себе по вкусу самую толстую колбасину, королеву колбас в ожерелье нежных жиринок. Собрав волю в сжатый кулак, заставил себя пройти мимо витрины твердым шагом.

На подходе к институту попал в шумный поток девушек. Омываемый щебечущей рекой, он не мог уклониться, повернуть вспять. Толкали локтем, портфелем, чертежным футляром. Разозленный, пошел как сокрушительный танк. Девушки расступались, давая дорогу, их прибой начал стихать. Оживленные глаза, смех, разговор.

Вышел из института. Студентка Макарова успешно сдала два экзамена. На следующий не явилась по неизвестной причине. Никто не знает.

В районном отделении дежурный офицер, капитан с серо-пятнистым лицом, прочитал письмо, записку. Отложив вещественные доказательства, впери в Живцова взгляд прицельных, неморгающих, как пистолет, глаз. Небритая наружность Живцова внушала капитану мало доверия.

– А ты не дезертир, дорогуша? Письмецо, истерика, – ты и дернул из армии. Что скажешь? Ну-ка документки!

Живцов хмуро подал воинский билет. Руки капитана лежали на столе, выползшие из рукавов мундира, испещренные, как и лицо, серыми пятнами. Рука поднялась, завладела билетом.

Удостоверясь в демобилизации, подписях и печатях, капитан раскрыл сейф, достал чистый лист бумаги:

– Пиши заявление. Гражданин такой-то, заявляю, что случилось то-то и то-то, пропала и так далее... Вот образец.

Рядом с капитаном сидел милицейский старшина, шкаф с погонами, парень, по виду, добродушный. Он попробовал утешить:

– Не у тебя одного. Ты что думаешь? Каждый день женский пол у нас пачками пропадает. И девки-то какие! Пальчики оближешь! Высший сорт. Скоро с одними крокодилами останемся, мать твою в сапог!

Живцов сжимал ручку в пальцах, не решаясь коснуться острием бумаги. Не сосредоточиться, составить фразу, как будто, чтобы выразить ее смысл, надо соединить несоединимое: живого человека с трупом.

– Климов, принимал новые телефонограммы? – спросил капитан.

– Ну, принимал. – Старшина зевнул, почесал свой кулачище. Стал поворачивать его перед собой и осматривать, словно прикидывая на глаз его убойную силу.

– И что?

– Да ничего. Пять трупов, три изнасилования, ограбления, угоны. Икону свистнули из Русского музея.

– Какую икону?

– Да ну, язык сломаешь. Про Георгия там чего-то.

– Чудо Георгия о змие?

– Во-во. Я и говорю: чудо. Стибрили за милую душу...

Не обыскали – подумал Живцов, закончив посещение представителей власти. Не понравилось бы им такое динамитное эскимо на палочке. Пощупал карман. Все! Занавес! На вокзал. Домой. Не найду я тут ее, хоть лоб расшиби! Кто ее знает...

Набережная Мойки...

Площадь Мира...

Садовая возвращались снова и снова, будто он кружил в лабиринте. Магазины, подвалы, аптеки, срочное фото со двора, книги, торты, меха, мыло, булка, женское белье, шляпы. Трамваи тормозили, открывали дверцы, закрывали и устремлялись в морозную даль улицы, завывая, громяхая вагонами, как на пожар. Трамвай, к подножкам которых он не успевал, к которым опаздывал.

В сумерках Невский. Фонари вспыхнули трехглаво. Город улыбался загадочными каменными масками с каждого дома.

Инвалид у Дома книги что-то кричал, шатаясь на костылях-бутылях, вскидывал руку и взывал к мимотекущему человеческому племени. Ветер клубил на его облыселом черепе гневные жгуты седых змей. Но никто не слушал пророка, кроме двух мордастых милиционеров в теплых шапках, в шинелях, с рациями.

Опять стал мучить лишенный пищи живот. Что там, в животе? Стая голодных кошек терзала внутренности, как требуху, брошенную у мусорных баков.

Дом, дверь. За дверью – полумрак. Площадка, лестница. Позвонить в первую же квартиру – пожрать дали б хоть что-нибудь, хоть селедочный хвост, хоть корку.

Но, поднимаясь, миновал дверь за дверью, не решаясь нажать звонок. Считал ступени – семьдесят две. Тупик, дверь в железе на чердак, замок. Грязное окошко: в бездонном ущелье, в сумерках, кишмя кишел огнями Невский.

Опять на площадку нижнего этажа. Бачок отбросов, с ручками, с крышкой. Скинул крышку ударом ноги. В груди картофельных очисток, на дне, полбуханки мерзлого, как камень, хлеба. Обтерев, остервенело грыз. На, жри! – обращаясь к животу. И – все! И – на вокзал!

Грузчики на Московском вокзале везли телеги с чемоданами. В зале ожидания, в толпе, мелькнуло распахнутое пальто, кепка, скулы, борода. Так ему и не уехать из этого города, не вырваться из заколдованных кругов-каналов, не достучаться до билета. Вот и рыбак, в ватных штанах, ящик у него на ремне, старый знакомец. Какую рыбу он на вокзалах ловит? Солдат он ловит и в ящик свой складывает. А потом везет в отделение милиции и жарит там солдат на сковороде, как корюшку. Потому что это и не рыбак вовсе, а переодетый мент.

Живцов подошел к окошку воинской кассы:

– Ни гроша, требование только до Ленинграда. Думал, совсем останусь, а теперь передумал. Домой надо. Дома ждут, не дождутся.

– Деньги, или документ на проезд, – отвечала недосыгаемая для нелепых доводов кассирша. – К коменданту иди, ему и объясняй.

Ответ оскорбил.

– Дай билет! Хоть куда-нибудь дай! Хоть на Камчатку! Ты, змею-га очкастая! Перед тобой защитник отечества, голодный, нищий, без копейки в кармане...

Но огражденную бронебойным стеклом кассиршу крик не понимал.

– Документ, – невозмутимо твердила она. – Требование на проезд. Или деньги давай. Я, что ли, за тебя платить буду? За каждого комиссованного психа раскошеливаться – никакой полочки не хватит.

К кассе приблизился полковник в высокой каракулевой папахе. Полные полковничьи щеки малиновели от возмущения.

– Сержант, прекратить безобразие! – строго осек он Живцова. Живцов посмотрел на крупнозвездного армейского чина.

– Ты-то что лезешь? Напялил папаху, так думаешь – орел. А ты индюк. Штабной индюк и больше ничего. Понял?

Полковник был до того изумлен, что краска сбежала с его щек, как смытая.

– Пьяный ты, что ли? – пожав плечами, он огляделся в поисках помощи.

Живцов плюнул пол ноги начальству.

– Патруль, сюда! – зычно гаркнул полковник показавшемуся в конце зала офицеру с нагрудной бляхой в сопровождении двух солдат в повязках.

Начальник патруля, молодцеватый, перетянутый ремнями старлей, подошел, козырнул.

– лейтенант, разберитесь. Учинил хулиганство. Оскорбляет старшего по званию. Черт знает что! По-моему, у него белая горячка.

– Есть, товарищ полковник. Разберемся, – еще раз козырнул старлей. – Сержант, покажите документы!

Криво усмехаясь, Живцов стал расстегивать пуговицу шинели. Два курносых патрульных солдата, с тесаками на боку, смотрели, скрывая сочувствие.

Старлей полистал воинский билет, протянул обратно.

– Уволен в запас, так и распоясаться можно? И небрит, и вид неряшливый. Придется тебя в комендатуру. Идем.

– А какой у меня может быть вид? Вторые сутки ничего во рту. В помойных баках роюсь!

– Что ж, у тебя совсем денег нет? – спросил полковник.

- Домой не добраться. А тут у меня никого, – вяло, погасшим голосом ответил Живцов.  
– Сколько? Этого хватит? – полковник протянул пачку. – И отпустите его, лейтенант.

Отпустите. Я не в претензии.

Живцов остался один у кассы, но покупать билет не спешил. В задумчивости сунул руку в карман, стиснул ручку гранаты.

Часы на столбе: до половины восьмого пятнадцать минут. Площадь. По верху здания, будто фриз, бежали огненные буквы, реклама фильма.

Переполненный автобус. Шофер отказывался двигаться, пока не освободят дверцы. С задней площадки свешивалась многорукая, галдящая гирлянда. Живцов ухватился за штанги, понатужился, грудью вдавил людей внутрь.

У «Астории» он был ровно в половине восьмого, секунда в секунду. Он увидел это время на здании с флагом, засветившиеся и погасшие цифры. Швейцар торчал за стеклом, красуясь золотой фуражкой. Вестибюль, люди ходящие и сидящие, ничего особенного.

Подъехала машина. Из кабины выбрались, лопоча не по-русски. Финны? Живцов опять посмотрел на часы на здании: без четверти восемь. Пустое ожидание. Направился в сторону собора. Улица, еще одна. Свернул.

Живцов увидел: дом в дырах окон, в капремонте. Двое и Дарья. Взяв за локти, вели ее к дому. Оглянулась, ища спасения. Толпа текла по тротуару: восковые, с закрытыми веками, лица слепых.

Живцов рванулся на ту сторону улицы, но ему преградил дорогу рой, устремленных на зеленый свет светофора, машин. Машины шли плотно, проскочить между ними – никак. Сталь, стекло, резина. Сердце Живцова стучало.

Бросился в первый просвет. Мешала шинель. Двое и Дарья исчезли в доме.

В три прыжка достиг входа. Споткнулся о груды досок. Полумрак, ступени, мусор, ящики, куски кирпича, отодранные обои. Под потолком тусклая лампочка.

Прислушался: ничего, невнятный шорох. Сквозняк шевелил ворох старых газет. Заглушенный этажами, сверху донесся слабый вскрик. Живцов ринулся по ступеням.

На площадке четвертого этажа он застал насильников и жертву в тот момент, когда медлить нельзя. Выхватив гранату, Живцов с размаха опустил ее на одну голову, потом на вторую. Оба рухнули поперек площадки, громоздкие, как мешки с цементом.

Живцов увидел: не Дарья. Фиолетовые щеки, мутный взгляд. Пьяная баба. Икнула.

– Ну, что вылупился? Хочешь?..

Не промолвив ни слова, с гранатой в руке, Живцов пошел вниз.

## Завтра в море

Прохоров лежал на койке. Морской погон с двумя звездочками. Лейтенант. Всего лишь. Но скоро он сможет прикрепить и третью звездочку. К 7-му ноября? К Новому году? Скоро, скоро...

Прохоров лежал на правом боку, подогнув колени, не шевелясь, и смотрел. Он смотрел на голое окно. От окна дуло, и отклеенная бумажка билась на стекле около трещины. Что там? День или полярная ночь? Море замерзает, издавая мелодичный звон, и подводная лодка у причала вскрикивает душераздирающей сиреной, схваченная врасплох объятием.

Прохоров прислонил ладонь ко лбу: горячий. Может быть, и сорок. Долго ли он, Прохоров, продержится в надводном положении? Доктор – постельный режим. Как зима – так в казарме не работает отопление. Выходит из строя, а обратно ни за что не встает – хоть все трубы лопни. Матросы спят под матрасами. Утром их зашивают в мешок, привязывают ядро к ногам и бросают в море. Нет, это еще не последняя стадия. Только бы не перепутать Марину с субмариной...

Прохоров вздрогнул, приподнялся на локте, прислушался: как будто бы доносился гул шторма. Кто-то шагал по коридору, гремя гневными каблуками. Ближе, ближе...

Дверь – настежь. В комнату вступил низкорослый человечек, украшенный курчавой бородой-водорослью, в шинели, в шапке с золотым крабом, на погонах кап. два – командир лодки Сабанеев. Собака! Долго ждать объяснений о причине его визита не пришлось. Собака широко разинул оснащенную прокуренными клыками пасть, и комнату тут же затопили потоки грубого сквернословия.

Будто через пробойну хлынула в отсек под колоссальным давлением глубинная, грохочущая вода.

– Прохоров, почему не на лодке, такую мать! – брызжа слюной, вопрошал Собака. – Умник! Курорт у него тут! Мед с мармеладом! Простудились они, бедненькие, в постельке полеживают, платочком носик утирают, головка у них бо-бо. Маменькин сынок! Слюнявчик на шею, коку с соком. Я с тобой нянчиться не собираюсь, так и знай! Опозорю на весь флот! Матросам прикажу разложить на мостике и выпарить ремнями – щенка! Сразу вся простуда соскочит!.. – Посмотрел на часы у себя на запястье, – даю сорок минут на сборы. Чтобы к первой склянке – как штык. И доложить мне лично. Понял? А не то – в говнопровод спущу! – Сабанеев крутнулся на каблуках и вышел, хлопнув дверью.

Вот собака! И что взъелся? В санчасть пойти? Он и там в покое не оставит, адмиралу доложит – что симулирую, совсем с флота сживет. Прохоров вздохнул, тяжело поднялся с постели. Шинель, кашне, перчатки. Вместо носового платка засунул за пазуху свернутое трубкой вафельное полотенце. Ну, все.

От казармы до гавани Прохоров шел, держась одной рукой за шапку, чтоб не улетела, сорванная ветром. Погодка еще та! Ветер дул с моря, пронизывающий до костей норд. Волны, лихо заломив белые береты, врывались в гавань, словно морской десант штурмовал военную базу и городишко, зажатый в скалистых сопках. У пирса грузно колыхалось туловище подводной лодки. Стальной левиафан с цифрой двадцать на боку. Часовой в полушубке с поднятым воротником, в шапке с завязанными под подбородком ушами, ходил по пирсу туда-сюда, засунув руки в карманы, с автоматом на спине. Увидев Прохорова, он нехотя вынул правую руку и отдал вялую честь.

– Ус в порядке, товариш лейтенант.

Прохорову на «порадок» в данный момент было начихать, он и чихнул, обильно разрядясь из обеих ноздрей простудным залпом. Доставая припасенное полотенце, спросил:

– Загогуленко, командир на лодке?

– Нема, – отвечал Загогуленко. – Дайте курнуть, товариш лейтенант. Умираю без куреву.

Прохоров дал сигарету, немного постоял в нерешительности, затем перебрался на палубу подлюдки. Огромная, обросшая черной шерстью крысища метнулась из рубочного люка и, проскочив между ног Прохорова, исчезла на пирсе. Что бы это могло значить? Прохоров подошел к люку и в мгновение ока спустился внутрь, скользя руками по поручням трапа.

В отсеке центрального поста было людно. Старпом, штурман, замполит, боцман, штурманский электрик, радист. Все они копошились в тесном пространстве, уставленном приборами и механизмами, как одно тело о шести головах и с дюжиной сноровистых рук.

Замполит Демин, тучный кап. три, пилотка подводника на лысом черепе, встретил нелюбезно, глаза-медузы:

– Лейтенант, что такое? Разгуливает, понимаешь. Командир тебя три раза спрашивал. Марш в свой отсек.

Штурман Маяцкий ехидно усмехнулся омраченному Прохорову:

– Одолжить мыла – подмыться?

Прохоров, утирая нос полотенцем, оправдывался перед Деминым:

– Температура сорок. Доктор дал освобождение на неделю, постельный режим.

– Ну, это меняет дело. Лечитесь, лейтенант. Нечего тут микробы разносить. Вы мне весь экипаж заразите, – заволновался Демин.

– Да нет. Командир приказал явиться. Работа вылечит. К тому же – новые торпеды сегодня со склада принимать. Мичману Чернухе без меня будет не управиться.

– Ладно, идите, – согласился Демин. – Только вот марлевую повязку вам на лицо повязать бы, чтоб микробы не успели разлететься по всей лодке, а то мы этак, понимаешь, и через месяц в море не выберемся.

Прохорову на это было нечего сказать, он отдраил массивную крышку переборочного лаза и, нагнув голову, нырнул в отверстие, как в прорубь.

По мере продвижения Прохорова по лодке, от центрального поста к носу, в отсеках становилось малооживленной и тише. Людей там было не меньше, чем в центральном, но деятельность у них была заторможена, как у мух при понижении температуры. Действительно, сделалось заметно прохладней. Нос Прохорова, проявляя своеволие, начинал жить самостоятельной жизнью: казалось, он решил расширить свои боевые возможности, и вот-вот нацелит вместо двух целых четыре ноздри, четыре, заряженных вирусом торпедных аппарата, превратясь в грозное оружие, способное погубить всю военную базу (да что там!) – разнести вдребезги весь северный флот! Попав, наконец, в носовой отсек, нос Прохорова без какой-либо предварительной команды дал сокрушительный залп по находившимся там подводникам.

Старшина первой статьи Крайнюк, лежавший, подстелив ватник, на запасной торпедке, чуть не свалился в проход.

Мичмана Чернуху тоже сильно покачнуло взрывом. Он отер рукавом кителя забрызганное лицо и усы и затем вежливо проговорил:

– Будь здоров. Чтоб тебе от темна до темна без капли спиртного во рту маяться. Расчихался, брандахлыст. Ты что думаешь, лодка хрустальная, что ли? Как рюмочка в буфете от твоего чиха расколется? На фу-фу нас не возьмешь!

Нет, Прохоров не думал, что лодка у них хрустальная. Вся она из железа, как наковальня, как серп и молот, как шило в мешке. И мозги тут у всех, пожалуй, железные, наподобие крепких, безотказных, стальных пружин.

– Заболел я, – оповестил Прохоров мичмана. – Жар, чертики в глазах. А сегодня новые торпеды со склада принимать.

– Ну и примем. Велика важность, – безмятежно отвечал Чернуха. – А ты на меня не дыши, гриппозник, отойди куда-нибудь подальше. Чернуха взмахнул рукой, как бы с целью убрать Прохорова из района видимости, но, описав в воздухе пируэт, попал пальцами в банку



с машинным маслом. Несколько минут Чернуха глубокомысленно созерцал свою заскорузлую пятерню со стекающей с нее мутной жидкостью. Затем, взяв из кучи чистую розовую ветошку, повесил ее себе в нагрудный карман кителя, как франтовский платочек, а испачканные пальцы тщательно вытер о свои широкие старослужащие усы.

Прохоров, отступив на шаг, смотрел на мичмана с недоумением: то, что Чернуха был в великолепной опохмеленной форме и, значит, вполне годен для выполнения учебно-боевых задач – в этом можно было не сомневаться. Но вот какую дозу он принял с утра себе на грудь – это вопрос. Потому что, при повышенной дозировке с Чернухой происходила нехорошая метаморфоза: у него нарушались какие-то важные механизмы мозгового управления, и мичман самые обычные действия начинал производить шиворот-навыворот, опрокидывая застоявшуюся человеческую логику и ошеломляя окружающих невероятным поведением.

– И без тебя тошно. А ты еще тут со своими выходками, – сказал Прохоров. Голова кружилась, как мутная волна. Бил озноб. – Манометр смотрел на балластной цистерне? Стрелка барахлит. И чего ты, Чернуха, дожидаться? Не мне же тебя учить.

Чернуха, с розовой гвоздичкой-ветошкой на груди, дожидался, когда Прохоров кончит высказывание, и, наконец, сам раскрыл рот – выпустить одно могучее слово, чтобы вопрос о манометре и прочей механической чепухе решился раз и навсегда и больше не возникал. Он, Чернуха, сам знает: что у него барахлит, а что в полной исправности. Но слово так и не успело выйти из чернухинского рта, потому что в этот момент около уха мичмана внезапно рывкнул рупор переговорной трубы и раздался хриплый, осатанелый лай ком. лодки Сабанеева:

– Лейтенант Прохоров! Явиться в центральный отсек!

Испуганные командирской побудкой, вынырнули откуда-то из закутов и застыли, каждый у своего торпедного аппарата, двое матросов-торпедистов: Булкин и Ведерников. Старшина Крайнюк все-таки не удержался на лежаке и с шумом свалился в проход. Чернуха крутил пальцем в оглушенном ухе и, надувая толстые щеки, с силой выдыхал воздух изо рта и ноздрей.

– Вот собака! Будто латунной пробкой забило, – жаловался он, морщась. – Никак не продуть.

Прохоров в отчаянье оглядел отсек, раскиданный инструмент, ветошь, мятые рыла своих подчиненных. Господи, за что ему такое наказание! Безнадежно махнув рукой, отправился на доклад.

Прохоров спешил. По всей лодке раздавались громовые команды Сабанеева. И лодка, содрогаясь стальными боками, беспрекословно проглатывала сильнодействующие пилюли.

В центральном народе набилось – руку не вскинуть, отдать честь. Заметив Прохорова, ком. лодки и звука не дал ему произнести.

– Лейтенант, сопли жуешь! Почему мне не доложил о своем прибытии?

Прохоров задохнулся от возмущения.

– Вас на лодке не было. Доклад замполиту Демину, по его распоряжению находился в носовом отсеке.

Но Сабанеев оборвал оправдательную речь. Он, помнится, дал сорок минут на сборы. Но некоторые ценки, и года не прослужившие на флоте, позволяют себе пренебрегать приказанием командира, прибывают не вовремя, как будто их в гости на чашку чая пригласили.

Прохорову промолчать бы, пусть Сабанеев пар выпустит. И старпом Николай Иванович, и штурман Маяцкий делали ему недвусмысленные знаки. Но Прохоров опять не стерпел: щенок, не щенок, но он прибыл на лодку даже раньше указанного срока, он прибыл, если уж быть абсолютно точным, через 33 минуты и 37 секунд после посещения командира...

На Сабанеева было страшно смотреть. Всем, находившимся в отсеке, захотелось головы поглубже вобрать в плечи и спрятать их, как перископы с поверхности штормовой воды. Ждали: сейчас ком. лодки разразится ураганом неслыханной ругани. Но Сабанеев (непостижимо!) на этот раз сдержал себя. Тень несостоявшейся грозы сползла по его лицу и скрылась

в густой, курчавой, заливавшей грудь, бороде. Заговорил, отдавая резкие, электрические приказы:

– Товарищ лейтенант, попрошу проверить ваше боевое заведование. Чтобы каждый клапан слушался, как собака своего хозяина. Новые торпеды загрузить. Недостающие запчасти получить со склада. Завтра – в поход...

После разговора с командиром Прохоров был занят до позднего вечера. Лодка через все люки загружалась необходимым для трехсуточного похода. Даже на обед в береговую столовую никто не отлучался. Кок Бакланов приготовил на лодочном камбузе сытный борщ и биточки, присыпанные зеленым горошком. Торпедисты ели в родном отсеке, примостясь, кто как мог, с тарелками на коленях. Старшина Крайнюк, раньше всех покончив с первым, вторым и третьим, сразу же, без задержки, принялся за ящик с галетами, который он изловчился подтибрить при погрузке провизии. Крайнюк безостановочно хрустел галетами, как кролик капустой, и объемистый ящик, зажатый у него между ног, опустошался с устрашающей быстротой.

– Во работает! – подмигнул Прохорову Чернуха. – Пустил свою хлебoreзку на полный ход. Теперь он все сожрет – что ему не сунь в пасть. Как бы он, лейтенант, нашу новую торпеду не смолотил за милую душу. Заглотит с хвостиком, как тараньку. Ему ведь что торпеда, что сушеный карась – один хрен. Чем тогда будем в море по мишеням стрелять?

– Как чем? Крайнюком и выстрелим, – мрачно ответил Прохоров. – Еще и лучше выйдет. Он своим медным лбом любую цель протаранит. – Прохоров не знал куда деть тарелку с недоеденным биточком, и тарелка в руке дрожала. И вид, и запах пищи был ему противен.

– Да заberi ты ее от меня! – крикнул Чернухе.

Мичман, взяв тарелку у Прохорова, передал ее матросу Булкину, который составлял тарелки стопкой, чтобы отнести в посудомойку.

– Кто не ест – тот не работает, – высказал сентенцию Чернуха. – Уморишь ты себя, лейтенант, и море тебе не поможет, несчастный ты человек. У меня, к примеру, в море аппетит неимоверно разыгрывается, как у тигровой акулы. Глянь на Крайнюка – налицо тот же признак. Только кок на камбузе начал кастрюлями брякать – у этого паразита такое обильное слюноотделение пошло, что лодку чуть не затопил. Я уже хотел аварийную тревогу звонить – чтоб помпу пустили.

– Чернуха, покажи язык, – попросил, утомленный мичманской болтовней, Прохоров.

– Это еще зачем? – удивился Чернуха.

– Покажи, тебе говорят.

Чернуха повернулся к зеркальцу, прикрепленному между трубами на переборке, вопрошающе посмотрел на Прохорова.

– Хороший у тебя язык, длинный, – одобрил Прохоров. – Как он у тебя во рту помещается, не понимаю. Давай-ка мы его тебе, Чернуха, малость укоротим. Кок из него фирменное блюдо на ужин приготовит. На всю команду, пожалуй, хватит.

Испуганный Чернуха в ужасе поджал губы, словно кок Бакланов стоял уже перед ним с остро отточенным, как сабля, ножом. Весь вечер Чернуха мычал, как Муму и изъяснялся жестами глухонемых, задевая над собой осветительные колпаки с мигающими в них лампочками.

После вечерней приборки командир отпустил команду на берег до утра, до подъема флага. Подготовка к походу почти закончена. Произвести размагничивание и – в море.

– Товарищи, начальство! Куда такая гонка? – жаловался в промежутках икоты нажавшийся галет Крайнюк.

Куда? Куда? Дело ясное. Адмирал в свои адмиральские штаны наложил. Бойтся, полярный Нептун трезубцем треснет – и все море замерзнет от Мурманска до Камчатки, как чухонское корыто!..

Люди с лодки выбирались по железной лесенке наружу и исчезали, рассыпая в темноте прощальный салют – искорки сигарет. Ночка обещала баллов десять. Луч, брошенный с вершины сопки, шаря, озарял часть гавани: там варилась белопенная, штормовая каша. Кок Бакланов (кто же, если не он?) помешивал это варево поварской ложкой. Лучше бы и не смотреть на такое безобразие, тем более, что ветер безостановочно вышибал слезу. С берега ласково мигали огоньки, предлагая домашнее тепло и уют. Подняв воротник шинели, Прохоров пошел к Марине.

Марина жила на окраине города, в самом отдаленном от гавани доме, и нужно было идти по проспекту Полярников, пересекая десять улиц, одну за другой, словно расстегивая бусинки пуговиц на марининой блузке.

В городе, за шеренгами домов, было тише, чем на открытом пространстве у моря. Фонари дрожали, опущенные мутно-морозным сиянием. Не попадалось даже собак, которые обычно бегали по улицам тощими стаями. На полпути Прохоров стал колебаться: правильно ли он делает, что идет туда? Не дать ли ему задний ход, пока не поздно? Что ждет его в том доме, за той дверью? Могло случиться, что сегодня в гостеприимной марининой постели он встретится с экипажами всех подводных лодок и кораблей базы, от простого матроса до адмирала, в полном боевом составе. Придется ему, Прохорову, участвовать в большом праздничном смотре. Да пронесут мимо него эту чашу!

Прохоров, все-таки, дошел до знакомого дома. Угловое окно на четвертом горело, как пожар.

Полумрак парадной, грязно-серые стены, повторы лестничных площадок. Палец в кожаной перчатке, утопив кнопку, устроил с той стороны двери осатанелый аварийный трезвон. Марина открывать не торопилась. Она не открыла. Прохоров, ожесточась, стал дубасить кулаком, ногами. Все тщетно.

– Марина, открой! – горестно воскликнул Прохоров. – Я знаю, что ты здесь! Я на минутку, два слова сказать...

За дверью раздался, имитирующий Марину, писклявый голос штурмана Маяцкого:

– Прохошенька, извини. Голубчик мой, у меня месячные. Приходи через недельку. Я тебя вне очереди приму.

Прохоров услышал фыркание, женский смешок. Вот сволочи! Плюнул, растер на загаженном бетонном полу. Пошел прочь, не солоно похлебав у этой стервозной двери.

На улице еще раз взглянул на дом: угловое окно на четвертом погасло. Темным-темно в нем, как в трюме. Несчастный ты человек, Прохоров. Несчастный и невезучий. И тут тебя обскакали. Ну, куда ты теперь, дурила? В казарму? В этот ледяной гроб без музыки?..

Прохорову стало нехорошо, помутилось в глазах, земля поплыла из-под ног, будто опрокидывалась палуба. Мытариться день-деньской, предвкушая радость вечера, устремиться, наконец, к цели, шлепать с температурой под сорок через весь город на манящий игривый огонек и – бац! Получить подлую пробоину ниже ватерлинии!.. Простуда горела в горле – зловещая заря над морем. Но, может быть, это была и не простуда, а что-нибудь похуже?..

Удрученный Прохоров подошел к фонарю – рассмотреть время у себя на часах. Время было не очень позднее: без пяти минут девять. До отбоя целехоньких два часа. Но что ему отбой? Он не матрос какой-нибудь, бритый лоб-первогодник, не прошедший учебки, которым помыкают все, кому не лень. Он – молодой офицер, у него блестящее будущее. Он еще себя покажет, так покажет – что все эти шакалы завоюют от зависти. Ну, простужен немножко. Не беда. Пройдет. Пополоскать коньяком... Прохоров, почувствовав прилив сил, двинулся обратно в сторону гавани. Теперь целью его устремлений был ресторан «Северное сияние».

Квартал за кварталом, безлюдные улицы, опять – вид на море, в уши вернулся рокот шторма.

Ресторан работал, окна горели, в пурпурных драпировках.

Однорукий инвалид-гардеробщик принял у Прохорова шинель и повесил на крюк рядом с такими же флотскими покрывками, усыпанными и крупными, и мелкими звездами всех званий.

Прохоров постоял у зеркала, пытаясь причесать на голове ком слезавшейся прелой пакли. Достигнув некоторого успеха, дунул на расческу, убрал в китель. Бледное лицо, нос – багровая груша. Так и не расставаясь с вафельным полотенцем, зажатом под мышкой, Прохоров вступил в ресторанный зал.

В зале гудел пьяный улей. Над столиками колыхались волны табачного дыма. Оркестр на сцене молчал, вконец измочаленный. Оркестранты, устроив передышку, утирали смертный пот со своих распаренных лбов. Из зала кричали, требуя новую песню. Оркестр попробовал начать что-то лирическое. Но не поучалось, звуки глохли, инструменты валились из рук.

Из-за ближнего у окна столика Прохорову замахали-закричали в один голос мичман Чернуха и командир б. ч. 5 капель Анохин:

– Эй, торпедная часть! Гребки к нам!

Анохин, прозванный на лодке крутилой, сидел расстегнутый, выставя замасленный торс в тельняшке. Третий в компании – незнакомец с седым чубом, угрюмый кап. три. На груди – золотая звезда героя Советского Союза. Вот так фрукт. Откуда он взялся?

– Ты что, в баню сюда пришел? – захохотал Чернуха, показывая на прохоровское полотенце. – Садись, сейчас мы тебе жарку поддадим. – Чернуха налил через край стакан коньяка и, расплескивая, пододвинул Прохорову. – Знакомься! – сказал он, – нашего полку прибыло – ком. лодки Александр Иванович Мариноска.

Кап. три протянул через стол крепкую руку. Пятипалые якоря сцепились в пожатии. Мариноска подмигнул, улыбнулся:

– Пей, сынок, не стесняйся. Тут мы все на равных. Не укачаешься с трех стаканов – возьму тебя к себе на мою гвардейскую старушку.

Предложение лестное, что ж мешкать, и Прохоров опрокинул в горло жгучий, настоенный на клопах, стакан. Остальные последовали его примеру.

Чернуха, пожевав корочку хлеба, стал продолжать прерванный появлением Прохорова рассказ из новой серии своих береговых походов:

– Вот я и говорю: полез я к ней, сам не свой, в таком запале, что – ужас! Дрожу, будто динамо-машина при зарядке аккумуляторов, и левая нога куда-то задирается, черт ее дери, как вертикальный руль со сломанной гидравликой. Но я не обращаю никакого внимания на эти мелкие трудности и жму в заданном направлении, что есть сил. Только, братцы мои, не тут-то было. Уперся во что-то твердое и ни в какую, хоть ты тресни! И что бы это могло быть, думаю? Холодное что-то и как бы железное. Посмотрел: мать моя родная! Ни за что не поверите: у ней там вместо этой штуки – замочная скважина! Я чуть с ума не рехнулся, ей богу. Миленькое дельце: лезешь бабе под юбку – а у нее там такое, что и в кошмарном сне не привидится. Как на двери в какую-нибудь халупу. Ну что тут будешь делать? Хорошо – у меня с собой ключи от квартиры оказались. Вставил, значит, ключ, повернул, открыл, вхожу – а там, кто б вы думали? Наш ком. лодки Сабанеев... Да как зарычит на меня: мичман, куда лезешь! Пошел вон, сукин сын! Не видишь что – занято!..

Мариноска и Анохин смеялись, упав головами на стол. Плечи у них тряслись. Прохоров смотрел на них, ничего не понимая. Неужели он начисто утратил чувство юмора?..

– Опять ты, Чернуха, всякую ахинею несешь. Перемени тему, очень тебя прошу, – стал умолять он мичмана. – Ну, хочешь, я тебе памятник в гавани поставлю, с подплывающих кораблей тебя за десять миль будет видно, или половину полочки отдам?.. Мочи у меня нет твой сивый бред слушать.

– Вот это дела! – удивился самым искренним образом Чернуха. – Как же ты, лейтенант, мочишься, если у тебя мочи нет? Ты что, святой? – широко распахнутый карий взор мичмана

выражал такое глубокое недоумение, что и дураку было бы понятно: ничем Чернуху не пронять и лучше оставить его в покое. Пусть заливаает, что хочет.

Мариноска и Анохин перестали трястись, но головы свои не поднимали. Чернуха поднял за волосы одного и заглянул ему в лицо, потом проделал то же самое со вторым. Отпущенные Чернухой головы вернулись в изначальное положение, стукнув бильярдными лбами.

– В дупель! – констатировал факт Чернуха. – До чего слабый моряк пошел. Вот в войну моряки были так моряки. Подводники – высший класс. Асы! Вернется лодка с похода, отправив на дно тыщонки две-три фрицев – рыб кормить. Подвоят к стенке, командир-герой наверху в боевой рубке, с ним старпом, боцман, сигнальщик, в шапках набекрень, в штанах-клешах. Командир зычно кричит на причал: эй, снабженцы, крысы тыловые, мать вашу в печенку! Чтоб через десять минут доставить на палубу моей эски бочку самого лучшего армянского коньяку. А не то у меня парочка торпед в запасе – разнесу всю базу, мокрого места не останется! Моим морским волкам после боевого плаванья хорошенько размагнититься треба. Через сто смертей прошли, с минами, чертями рогатыми, целовались, живыми выплыли. А теперь нам погулять охота! И что ты думаешь, лейтенант, – катят крысы снабженские им на палубу бочку самого превосходного армянского коньяка. Командир веселым голосом командует срочное погружение. Задраивают люк. Лодка тут же у стенки опускается на дно морское. И ребята веселятся и поют песни на глубине тридцати метров, как боги. Никто их не видит, не слышит с берега. Никто им не нужен: ни мать, ни отец, ни сестра, ни дети, ни война и мир, и ничего, что есть на свете. Душа разворачивается гармошкой. Подводники поют песню, так что рыбы и чудища морские шарахаются на сто миль в округе. Только вот беда – воздух в лодке скоро кончается, электричество опять же – подзаряжать... Всплывай – хочешь, не хочешь. Тут уж адмирал, командующий базой не зевает, по его приказу катера окружают, десант на пирсе. Только лодка покажется, откинут крышку люка – тут их всех и берут на абордаж, котят беспомощных, и тащат на берег, в казарму, в простынках отсыпаться. Командир лодки идет последним, бородащей оброс до пят, как дьявол, самоходом идет, без буксира, герой. Ох, и крепок же был, я тебе скажу. Скала! Утес! Если бы не это дело – быть бы ему командующим флотом! – Чернуха опять поднял за волосы голову Мариноски и посмотрел в его бледное, с закрытыми веками лицо.

Прохоров слушал, не слушал болтовню мичмана. Выпил второй стакан. Третий. Словно это и не коньяк, а желтенький чаек. Да что ж это такое! Возьмет его сегодня хмель? Возьми ты меня, хмель-хмелина, змей винный, всего с потрохами возьми, без остатка! – умолял Прохоров. – Не нужен я себе сегодня, ну, ни капельки не нужен. А завтра – хоть и потоп...

Прохоров оглядел зал: флотские затылки, распаренные рыла, и ни малейшего присутствия женщины во всем зале.

– Мичман, где женщины? – прервал он бесконечные повествования Чернухи.

– А белый медведь их знает – где, – равнодушно отвечал Чернуха. – Кажись, в матросском клубе они все до одной, включая старух, из которых песок сыпется. Им там сегодня лекцию читают: любовь и космос. Специально лектора из Москвы выпросили, чтобы осветить им эту проблему.

– Ты, я вижу, ничуть не унываешь, что юбок тут нет, – заметил Прохоров.

– Не унываю, – согласился Чернуха и тяжело вздохнул. – Или пить, или юбки любить. Что-нибудь одно. И вот что я тебе скажу, лейтенант, вино – первый враг этому великому физиологическому процессу. Как серпом по яйцам, извини за выражение. Эх, лейтенант, я тебе душу наизнанку, а ты меня, смотри, не выдай. Плуг у меня, понимаешь, что-то стал плох, не пашет. Старик я, совсем старик... – Большая печальная слеза робко выглянула из-под века мичмана, помедлила секунды две-три, наливаясь унылой тяжестью, и затем поползла по его небритой щеке, прокладывая себе русло в колючих зарослях. Прохоров видел: это меланхолическое выделение Чернухи преодолело, наконец, зону лесистой тундры и, упав в пустой стакан, наполнило его, но меньшей мере, на треть. Чернуха поднес стакан к носу, понюхал.

– Спирт! – объявил он. – Чистейший, медицинский. Будто сейчас с аптеки. – И Чернуха опрокинул стакан себе в рот.

В тот же момент со сцены грянула долгожданная музыка. Зазвенели бронзой литавры, и прекрасный, как северное сияние, голос запел:

– Прощай, любимый город! Уходим завтра в море! И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой...

Весь зал стоял с поднятыми бокалами в руках и слушал. Шквал аплодисментов едва не обрушил стены заведения. Кричали ура, лезли на сцену к музыкантам целоваться, совали в саксофон червонцы, многие рыдали, словно это был их последний вечер на берегу.

Потом были и другие песни. Слушать их до безбрежности – что еще надо желающему забыться человеку? Чернуха ушел отливать еще одно свое выделение, которое, вполне вероятно, тоже оказалось стопроцентным, чистым, как слеза, спиртом. Анохина и Мариноску куда-то утащили вызванные звонком патрульные матросы.

Прохоров остался один за столиком, на поле боя. Сидел, пригорюнясь, подперев щеку ладонью. Зачем он здесь? Никакого утешения он тут не нашел. Даже хмель отвернулся от него; ни третий, ни четвертый стакан не брал его с собой в дальнейшее плавание. Все сегодня его предали. Сговорились они, что ли? Или это какая-то неведомая болезнь, притворяясь простудой, забралась к нему внутрь и распоряжается, будто своим личным хозяйством? И теперь уж он в себе не волен. Теперь уж ему точно – каюк... А, может быть, он как-то не так живет, не так думает, не то ест, и не то пьет, не по тем местам ходит? Потому и не сделал до сих пор ничего ни для своей славы, ни для своего бессмертия? А ему завтра тук-тук в окно 24-ре! Ау! Ты еще здесь? Боже мой! Дожить до 24-х и не заставить мир смотреть на тебя! Это больше чем позор: это срам. И жить с таким срамом невозможно. Вот Чернуха – другое дело. Проспиртованный до кончиков усов мичман никогда не умрет. Чернуха вечен.

Прохоров и не заметил, как подсел к нему за столик, вынырнув из дыма, замполит Демин.

– Я не пью, – предупредил замполит, и не совсем решительно отодвинул от себя стакан.

– А я пью, – ответил Прохоров, наливая себе еще из бутылки.

– Срочное дело, понимаешь, – сказал замполит. – Ни одного офицера не найти дома. Все здесь. Вот и я – сюда. Перед походом, понимаешь, кучу работы надо провернуть: боевой листок, соц. обязательства для каждой боевой части. Совсем запарился. – Замполит отер рукавом свой лысоватый сократовский лоб. – Вот соц. обязательства для твоей торпедной команды. Прочитай и фамилию в конце подмахни, – замполит протянул лист бумаги.

Прохоров держал лист перед собой, смотрел на машинописный текст. Что за абракадабра! Написано было на каком-то непонятном языке. Русским тут и не пахло. Где он, Прохоров, находится, в какой стране, на какой планете? И кто это сидит перед ним, прикидываясь замполитом Деминым? Искуситель! Подсунул листок с зашифрованным дьявольским договором, чтобы Прохоров расписался своей кровью в предательстве родины...

Замполит, утратив терпение, выхватил у Прохорова листок и повернул его с головы на ноги.

– Меньше за воротник закладывать надо, – проворчал он. – Коньяк, понимаешь, пьют, – покрутил бутылку и опять поставил на стол, – об этом я еще проведу с вами беседу, товарищ лейтенант.

Теперь текст на листе стал предельно ясен. Напечатано было по-советски, грамотно и разборчиво. Прохоров читал:

«Соц. обязательство боевой части № 3 подводной лодки С-20.

...все свои дела мы посвящаем родной партии. Каждый из нас обязуется высоко нести честь и достоинство советского моряка-подводника.

Мы обязуемся:

Проявлять высочайшую бдительность при несении ходовой вахты.

Развернуть борьбу за секунды при выполнении боевых нормативов.

Внести 15 рац. предложений.

Отработать взаимозаменяемость внутри команд.

Освоить смежные специальности...»

– Ну, как? Все понял? – спросил Демин.

– Абсолютно, – кивнул Прохоров.

– Согласен?

– Согласен.

– Тогда подпишись, – потребовал замполит.

Прохоров взял у него ручку с красными чернилами и размашисто написал поперек листа: «С брехней согласен. Адмирал Прохоров».

Демин смотрел на листок и не верил своим глазам. Он уже собирался попросить объяснений, но не успел. Прохоров вскочил из-за стола, увидев входящего в зал ком. лодки Сабанеева. Вот он – враг номер один. С ним надо расправиться сейчас же, не теряя ни секунды. Все равно, им не ужиться вдвоем ни на земле, ни в море, ни в походе, нигде...

– Ах, ты, собака! Хватит тебе мою кровь лакать! – исторгнул неистовый вопль Прохоров, схватил за горлышко полную, неоткупоренную бутылку.

Никто не сумел предотвратить нападение. Прохоров мгновенно очутился перед командиром лодки и обрушил ему на голову свое оружие. Сабанеев повалился навзничь. По лицу его текла, смешанная с коньяком, кровь. Прохоров, не оглядываясь, побежал вон из ресторана. Перед ним испуганно расступались.

Устремился в сторону гавани. За ним, несомненно, уже гнались. Выслали противолодочные корабли. Расстреляют в упор, закидают бомбами. Спасти могло только срочное погружение. Ветер над гаванью расчистил от туч кусочек неба, засветились звездочки. Одна, другая... а вот и – третья!..

Прохоров побежал вдоль пирса. У лодки нес ночную вахту часовой. Матрос-торпедист Иван Булкин. Бледный, курносый блин, только что из деревни, накрытый форменной шапкой. Булкин проводил своего командира удивленно вытаращенными глазами.

Прохоров остановился на свободном пространстве, где взметались и заливали причал волны.

– Срочное погружение! – закричал он приближавшемуся Булкину. – Заполнить цистерну главного балласта! Носовые аппараты – товсь! 1-й аппарат – пли! – Прохоров, взмахнув рукой, прыгнул в кипящую, бурную пену.

«Приму вне очереди» – говорил ему нежно вибрирующий голос. И он, горя безудержным вожделием, гигантский осьминог, сжимал в объятиях субмарину, увлекая ее в темные, загадочные глубины, и железные ребра ее трещали.

Булкин, сбросив с себя автомат, полушубок, ринулся в ледяную воду спасать сбесившегося командира. К месту происшествия сбегались люди.

## Об отце

– Третий час ночи! – говорила мать, гневно сдвинув тонкие брови. – Ребенка разбудите. Но ее не слушали. Тускло светившая керосиновая лампа, стоявшая в центре стола, позволяла видеть румяные отцовские губы, лениво борющиеся с куском сала, наколотым на вилку. Отец сидел солидно, в расстегнутом кителе, показывая полную фигуру в нательной рубаше. Половина его лица, обращенная к свету, расплывалась в пьяной улыбке.

Старший лейтенант, Гриша Безбородько, боевой друг, плечом к плечу кончали войну в Берлине, – так вот, Гриша раскрыл рот, напоминая отверстие танкового люка и загорланил «Катюшу». В пузатом стекле лампы колыхнулось коптящее острие. Гриша тут же пресек песню и предложил отцу:

– Что, капитан, вспрыснем еще разок твоего февраленка!

Отец был вполне мной доволен. Конечно, может быть, было бы лучше, если бы я дотянул с моим рождением, скажем, до мая. На вольном воздухе пить приятней. Но и февраль чем плох в жарко натопленной белорусской избе. Всем месяцам месяц. Отец повернул в мою сторону свой широкий, потно блестящий лоб. Тот, кого можно было назвать новорожденным, сладко спал в пеленках, убаюканный материнскими коленями.

– Гришка, у меня мировой парень! Будущий танкист. Сразу видно. Это тебе не гусеницами землю пахать. Сам бы такого родить попробовал.

– И родю, – угрюмо отвечал Безбородько. – Подумаешь. Чем я хуже. Вот найду подходящую девку и родю.

Отец оторвал от стола стакан, покачнул его высоко в воздухе, граненый, мутный:

– Ну, поехали! За мужчину!

Выпив, отец встал, икнул, и попытался приблизиться к сыну, взглянуть на свое спящее произведение.

Мать зло, сквозь зубы процедила:

– Уй-ди!..

– Что ты, Машенька? – добродушно удивился отец, отошел и потянулся опять к объемистой трехлитровой бутылки. Но там оставалось на доньшке, только стакан ополоснуть. Отец недоуменно воззрился на бутылку.

– Пани Леля, – жаловалась мать хозяйке, – вторую неделю ведь пьет.

Пани Леля засыпала, подперев щеку мясистой ладонью. В отличие от матери, женщины миловидной и хрупкой, пани Леля могла гордиться своей дородностью и квадратным мужским подбородком.

– Машенька, ты себя не мучь, Виктор Титыч образумится. Душевный он у тебя. Такой душевный... – Пани Леля никак не могла быть равнодушна к отцу, начальнику автоколонны, строящей дорогу по западной Белоруссии на Брест. Шофера, отпетые ребята, тоже – готовы были за него в огонь и воду.

Тут Гриша Безбородько всхлипнул:

– Ох, братцы, что-то стало скучно. Патефон, может, завести.

Мать взорвалась:

– А ну, убирайтесь вон со своим патефоном и гуляйте, где хотите. Чтобы мои глаза вас больше не видели!

– Понял, понял, – засуетился Гриша, пытаясь сдвинуться с места. Он жил за перегородкой.

Пани Леля потянулась, изгибая толстую спину, повязала платок на голову и пошла во двор.



Остались одни, семья. Мать положила меня в кроватку, вынула гребень из прически и распустила по плечам свои длинные русые волосы. Отец, сидя у разобранной постели, принялся стаскивать сапог. Сбросил один на середину комнаты. Второй никак не поддавался. Машинально вынул из внутреннего кармана кителя револьвер, положил под подушку и, так, как был, с одним неснятым сапогом, повалился на кровать и захрапел.

Пани Леся вышла во двор. Раздувая ноздри, вдыхала морозную благодать. Село утопало в молочных сугробах. Над сараем сияли рожки новорожденного месяца. Чем не ягненок.

– Погодите! – со злостью прошептала пани Леся, – это вам не под поляками. Скоро вам устроят колхозную райскую жизнь...

Треснул выстрел, как дерево от мороза. У самой щеки чиркнул ветерок пули. Пани Леся бросилась в дом, закричала:

– Ой, батька, бандюги!

Отец в одном сапоге, и вслед за ним Безбородько, мгновенно протрезвевшие, выскочили в сени и стояли, прислушиваясь, наставив в ночь револьверные дула.

– У, гады недобитые! – тяжело дышал Безбородько. Стояли, слушали. Но кругом было тихо. Как говорится, мертвая тишина.

– Эх, жизнь копейка, – сказал Безбородько, – в войну выжили, а тут подстрелят, как куренка. Виктор Титыч, пойдем лучше еще хряпнем. У меня полбутылки обнаружилось. Чтоб не скисло.

## Женитьба дяди

Мужчины в нашем роду уходили один за другим. Но, все-таки, они успевали жениться и произвести себе замену.

В Питере, на левом берегу Невы, на проспекте Обуховской обороны жил дед.

Электричка везла нас с матерью к Балтийскому вокзалу. Я гордо держал на плечах звездочки морского лейтенанта, на каждом по две. Шинель жала под мышками, новая. Проносилась скучная местность. Симпатичный малиновый беретик нет-нет и косил в мою сторону. Мать сидела прямо и нервничала. Раскрыла сумочку:

– Ну вот, валидол забыла. А ты води себя прилично. Прошу как человека – пей в меру.

– Да ведь родной дядя женится, – возразил я. – Такое раз в жизни бывает.

Мать всплеснула руками и запричитала:

– Ты же мне обещал! Угробить решил. Хватит мне позориться. Никуда я с тобой не поеду.

– Тише ты, люди кругом, – успокаивал я, озираясь, – шутки не понимаешь.

– Знаем мы, как ты со стаканами шутишь, – буркнула мать. – Весь в отца. Царствие ему небесное...

Малиновый берет смотрел на меня изумительно круглыми ошеломленными глазами. Я уже подыскивал слова, чтобы сказать ей что-нибудь приятное для начала знакомства, но тут электричка прекратила свое движение у конечной станции «Ленинград», и надо было выходить.

Город шумел, мельтешил. Слякоть. На платформе месили ногами грязную снежную кашу. Рядом с мужским туалетом толстая тетка в одетом поверх ватника халате (имевшем претензию на белый цвет) продавала из своего передвижного комода эскимо на палочке. Я глядел в мутный воздух, и мне почему-то захотелось парного молока, как в детстве. Воображение мое разыгралось. Наверное, я уже впадал в идиотизм младенческих воспоминаний. Про меня можно было сказать, что в голове у меня паслась корова Зорька.

Мать шла рядом, маленькая, по плечо. Балтийский вокзал был все такой же. Ничего не изменилось за столько лет. У матери был я. Она тревожилась в толпе: как бы меня не затолкали, не смяли, не повредили что-нибудь, что потом скажется в моей жизни. Она снова была мной беременна. Или постоянно.

Трамвай номер 19-ть тянулся и дребезжал через город и по левому берегу Невы. Огромный железный мост висел в зимнем воздухе, как мираж, и полз по нему длинным червяком поезд. Мать смотрела озабоченными глазами. Мне хотелось курить, и я завидовал огромной заводской трубе, безостановочно выдыхающей вулканы дыма.

Дом, где жил дед, на шестом этаже, – как его не узнать. Нас приветствовала его копченая, желтая, как горчица, стена. И дальше по улице, до самой Невы тянулось пустое пространство дворов, огражденное низким бетонным барьером.

«Что ты водишься со всякой шпаной, – сказала мать. – Ты же морской офицер. Опять из школы принесешь кол по арифметике».

Я посмотрел на мать: нет, она ничего не говорила, губы плотно сжаты. Я очнулся от детства, вижу: начинает сереть зимний вечер, кружа снежинки в замутившемся воздухе, и мы вошли в дом деда.

Надо было отсчитать вверх около полусотни заплеванных ступеней. Мать тяжело дышала, отдыхая на площадках. Послышалась нарастающим грохотом лавина низвергающихся башмаков. Мы успели прижаться к стенке. Мимо пронеслась с гиком орда подростков с клюшками, догоняя ошалелую, мечущуюся туда-сюда шайбу. Один сорви-голова катился задом-наперед, оседлав перило. Все провалились в тартарары, хлопнув парадной дверью. Мать перекрестилась, она теперь часто вспоминала свою религиозную тетюшку, и мы продолжили восхождение.

Звонок дребезжал в квартире комариком. Коммуналка кишела родичами, издававшими радостный гул. В комнату деда попадали слева, за поворотом. Но я оставил мать лобызаться со всем кланом, а сам двинулся по темному коридору на брезжащий в конце свет. Там, заполнив все небольшое пространство кухни, курили мужчины, выдыхая дым в форточку.

– А, вот и морской волк! – констатировал Василий Петрович, мой крестный. Он с достоинством знающего себе цену сорокалетнего мужчины выставлял ногу в лакированной туфле и выпускал из аристократического выреза ноздри струю «Беломора». Его щеки лоснились, сизовыбритые, и благоухали одеколоном «Шипр». Блондинистые волосы, прошитые нитями седины, были зачесаны волнистыми складками, открывая широкий, как купол, лоб. Василий Петрович щелкнул серебряным портсигаром, распахнул его, и предложил сократить содержимое папиросного патронташа.

Вытянув папиросу, я тут же услышал ее жалкий раздавленный хруст, это мой родной дядя Виктор, восторженно рыча, принялся мять меня в своих медвежьих объятиях. В жениховском костюме, румян, курчав и грандиозен, дядя, мучительно сознающий себя виновником торжества, сунул нам стаканы в руки и щедро плеснул из поллитровки.

– Свистнул со стола, пока бабий батальон пудрится, – быстро шептал дядя.

На кухонной плите булькала кастрюля размером с котел, варилось какое-то млекопитающее.

Через полчаса свадебный стол бушевал, властвуя во всю длину комнаты, тесня густо сидящих родственников и расстреливая их в упор шампанским. Бокалы сами присасывались к ртам, заваливая головы, вилки вонзались в груды маринованных помидор, ложки гребли в морях салатов и студней, ножи взлетали победоносными саблями. Дед сидел прямо, со строгими морщинами вдоль щек, лысина блестела. Невеста, миловидная, молодая женщина, обладающая весьма приятными, пышными формами, даже припудренная бородавка около носа ничуть не портила ее счастливое, улыбающееся лицо, – так вот, невеста нежно, но крепко держала своей пухленькой ручкой окольцованную лапищу моего дяди, совершенно сковав ему свободу передвижений между бутылкой и стаканом. Мать сидела рядом со мной, у самого моего локтя. Ее отвлекал разговором, по предварительной моей просьбе, Грачев, старинный приятель деда, с нависающими над лицом вороними бровями. Пока мать отворачивала голову к Грачеву, перечисляя свои болезни или умерших родственников, я успевал хлопнуть рюмки три. Мой крестный, Василий Петрович, невозмутимо держал свой великолепный купол, будучи под недремным наблюдением жены, и важно ее предупреждал:

– Зоинька, мы договорились: десять рюмок за вечер. Видишь: я пью вторую.

Впрочем, разговор за столом шел об инопланетянах, о том, как готовить студень из поросчатых ножек, и будет ли третья мировая война. Соседка, тетя Клава, жаловалась горемычным голосом, что сын Вовка каждую ночь в постель дует. А еще пионер, называется. Никому такого ангела не пожелаешь. Мне при этих словах показалось, что потолок над нами поехал и в разверстом небе пролетел с золотистой пионерской трубой ангел.

Наконец, пошли всем скопом плясать в комнату тети Клавы. Я приглядел подругу невесты, она была в плотно облегающем фигуру, переливчатом платье с отважно декольтированной грудью, и взвизгивала:

– Ах, как я люблю морячков!

Мой дядя Виктор, каким-то чудом ускользнувший из нежного плена новобрачной цепи, удержал меня за руку:

– Скорей, пока никто не расчухал, Петрович уже ждет.

Мы благополучно выбрались из квартиры на лестничную площадку, будто бы покурить, крестный уже дымил беломором, увлекли его за собой и втроем скатились по ступеням.

Оказавшись на свободе, мы облегченно вздохнули и сразу же бодро зашагали к пивному ларьку. Очереди не было. Мы отпили половину из кружек, дополнили захваченной с собой

водкой и тогда уж сдвинули кружки, поклявшись хранить до конца дней наш триумvirат свободных личностей. Настроение у меня было самое радужное, я был юн и наивен, как Адам до грехопадения, фонари двоились в бронзовых нимбах, будто святые. Я сдвинул шапку с крабом на затылок и предложил толстухе за окошечком, откуда разлило бочкой пива, разделить со мной молодую радость жизни. Толстуха развеселилась, высунула руку и пошлепала меня по щеке мокрой липкой пятерней:

– Ах ты, соплячишка!

После чего я, словно провалился в люк. Очнулся я, лежа; дядя держал на коленях ту толстуху, и они горланили: «Эх, мороз, мороз! Не морозь меня!..». Крестный, уронив свой великолепный купол на стол, сотрясаясь в рыданиях.

А рядом со мной на диване сидела красавица, ее лицевая часть оканчивалась таким острым подбородком, что им, как утюгом, вполне можно было бы отгладить мои мятые-перемятые, потерявшие всякую флотскую форму, брюки. Она и гладила меня, но только по голове, приговаривая:

– Какой пай-мальчик. Совсем шелковый. Вот уж скоро ночь. Придется мне быть твоей.

– погоди, Люська! – возразила толстуха. Ты уж и отдаваться. Пускай они еще бутылку принесут.

– Бутылку, это мы можем, – сказал дядя. – Что бутылку. Мы сейчас ящик шампанского притащим. Свадьба у меня или не свадьба, я вас спрашиваю?

– Выпить хочу, – продолжала требовать толстуха. – Если сейчас же не нальете мне и Люське по стакану – пошли все вон, кобели.

Мой дядя Виктор откуда-то, из штанов, что ли, вытянул еще бутылку. Это было в полном смысле последней каплей. Чернильная клякса залила мое сознание, я опять провалился в люк, мне стало совсем непонятно: хорошо мне или плохо. И был вечер, и было утро...

Родичи с бледной, несчастной, опухшей от слез невестой искали нас по всем моргам четыре дня.

Через четыре года моего крестного, Василия Петровича, я, действительно, увидел в гробу. Он лежал, важно скрестив руки. Его великолепный лоб почернел. И отчетливо были видны шрамы от вскрытия черепа. Сказали, что мозг моего бедного крестного съел рак.

А еще через год я попрощался и с моим дядей Виктором. У него оказалось слабое сердце. Румянец, когда-то разливавшийся, как зорька, по его щекам, теперь заменила грубая маскарадная краска, намалеванная похоронным мастером, который старался принарядить эту, не имеющую ничего общего с моим дорогим дядей, мертвую куклу.

Следующим ушел дед, он-то был старой закалки.

А я пока жив, пью из своего стакана за их неведомый мне рай или ад.

## Последняя капля

Все ноябрьские праздники мы с тестем глушили «московскую». Косил дождик. Мокла, прикрепленная к соседнему зданию, красная тряпка флага, как сморщенная кожа помидора. Часы шевелили тараканьими стрелками. Фургон для перевозки мебели въехал во двор и задевал зазевавшуюся кошку. Жена бесилась, била посуду и кричала, что будет выкидыш. Я смахнул таракана. Оказалось, это часы, подаренные нам на свадьбу. Стояли себе на комод, никому не мешали. А я их смахнул. Я им, видите ли, весь циферблат разбил. Надо же было как-нибудь убить время. После сердечного разговора с женой я вспомнил: поезда дальнего следования меня всегда успокаивали.

Впрочем, мне как раз пора было возвращаться на север, к месту моей службы. Мурманский поезд отправлялся в 18.30 с Финляндского вокзала. Все выходило, как нельзя лучше. Вчетвером мы заняли отдельное купе: два лейтенанта, мичман и прапорщик береговой охраны. Ехать предстояло почти трое суток, и мы, первым делом, проверили запасы горючего. Получалось не так уж и бедно: примерно по литру на брата. У меня была лимонная горькая и две маленьких – что успел достать. Зато прапорщик, хохол из-под какого-то Бердичева, вез канистру горилки. Мы подумали: должно бы хватить до Мурманска. Поезд гуднул, платформа потихоньку поплыла в косом дождике. Решили начать с моей лимонной.

Примерно, через час мичман мрачно заговорил о внутренних и внешних делах нашего государства. Он провозглашал речь с пафосом Цицерона, и размеренно выпускал по мировому злу, круглые, как торпеды, периоды, начиненные зарядом могучей обличительной силы. Прапорщик сразу поддержал эту тему и поведал печальным голосом с мягким украинским акцентом, как его земляков успешно травят с колхозных самолетов селитрой. Я уже давно заметил: горячие диспуты на эту поистине неисчерпаемую тему неизменно и самым естественным образом начинались с третьего стакана. Я знал по опыту, если сейчас же не повернуть в сторону женского пола или анекдотов про Чапаева и Петьку, то остановить Цицерона будет уже, практически, невозможно, и мы все трое суток проговорим о политике. Поэтому я сказал: государство, это – куча дерьма. Охота вам в ней копать.

– Нельзя стоять в стороне от мучений народа, – сказал лейтенант, наполняя очередной стакан, на что я возразил:

– Никакого народа, просто-напросто, не существует. Все народы давно вымерли, как мамонты. Теперь у нас вместо народов масса. Что-то вроде студня. А мы тут сидим себе в купе со всеми удобствами, рядышком, как четыре неразлучных мушкетера, и, насколько я еще могу здраво судить, ничуть не мучаемся.

Мичман встал, простер руку и провозгласил, что наше правительство – это банда обожравшихся свиней, и стал призывать к новой революции.

В купе заглянула симпатичная проводница в красной железнодорожной шапочке и спросила: «Не надо ли чего?».

Хохол-прапорщик подумал, подмигнул нам и сказал: как же! Кой-чего, конечно, требуется такому молодому хлопцу, как я. И пошел за проводницей. Больше мы его уже не видели до самого Мурманска.

Так, под стук колес, в приятных беседах, прерываемых короткими снами, покачиваясь в ритмичном движении, ехали мы на север. Пейзажи за шторкой нас мало интересовали. Все же, изредка, я замечал, то ли сквозь сон, то ли в забытии разговоров, могучую небритую щетину елового леса, и, будто бы одну и ту же лысую сопку, которая время от времени, шатаясь заглядывала нам в окно. Все-таки, я боялся заснуть, я знал, что змей поезда пожирает беспечно спящих людей, слизывая их с верхних полок. Поэтому, болтая босыми ногами, я спросил: достаточно ли пороха в пороховницах? Оказалось, мы не рассчитали наших возможностей,

случилась беда: путешествовать еще целые сутки, а у нас на столике грустно позванивает взвод пустых бутылок. Нас спасла пятиминутная остановка в известном населенном пункте. Бывалый мичман знал – что надо делать. План действий за многие годы его путешествий по этой дороге был отработан до десятых долей секунды. Поезд стал тормозить, мичман на ходу соскочил на платформу и пулей кинулся по изученному назубок маршруту, производя молниеносные зигзаги и повороты, и срезая углы. Мы летели за ним, спина в спину, в точности повторяя все его маневренные фигуры. За собой я услышал топот лошадиного стада и, быстро оглянувшись, увидел, что за нами по пятам несется, сбившись в кучу и поднимая пылевую бурю, весь мужской состав нашего поезда. До прилавка уютного сельского магазинчика мы добежали первыми. Сунув продавщице точную сумму денег без сдачи, мы выхватили из стоящей на прилавке шеренги приготовленных бутылок, каждый по две, в обе руки, и ринулись в обратный путь, сжимая за горлышко свою боевую добычу. Это была «зубровка». Она приятно лучилась янтарной жидкостью. Теперь мы не сомневались, что благополучно доедем до Мурманска, не страдая от скуки жизни.

В Мурманске мы не задержались, а сразу отправились на катере в городишко «Полярный». Там находилась наша база подводных лодок.

В Полярном было мрачно. Свирепый ледяной ветер продувал шинелки. Крыса пересекала пирс. Гигантская крыса с черной шерстью. Она жила внутри стального левиафана, который покачивал у пирса суровый бок с цифрой 20.

Полушубок с задранном воротником и с автоматом на спине повернулся. У часового было фиолетовое марсианское лицо. Разжав губы, он попросил закурить. Он был, несомненно, героической личностью, сумев закурить при таком ветре.

Мы пошли в городишко, прячущийся в сопках. Штормовой денек пытался свалить грязно-бурую шеренгу жилых коробок. Клубилась пыль. Подхваченный вихрем кусок газеты парил высоко в воздухе, как буревестник.

В казарме меня встретил командир лодки капитан 1-го ранга Собакин, по прозвищу иерихонская труба. Увидев меня он закричал: «Почему я не исполнил его командирский приказ и не присутствовал вместе со всей командой – слушать по телевизору речь главы государства. Или я считаю себя выше всех». В ответ я взглянул на него сверху вниз, измеряя его, мало соответствующий голосу, рост, и, не в силах сдержать злость, прошептал: «Собака, я ведь только что прибыл из отпуска». В следующую минуту я получил приказ отправляться на гауптвахту. После чего я сразу же пошел в сан. часть, предварительно натерев у себя в комнате лоб вафельным полотенцем, быстро доведя его до состояния раскаленной печки. Кроме того, я влил себе в нос полбутылки канцелярского клея, так что нос превратился в безостановочно чихающую и исторгающую гриппозные ручки разбухшую багровую грушу.

В сан. части я отдыхал без малого две недели и там-то впервые прочитал, от нечего делать, полное собрание сочинений Шекспира. Грандиозный, конечно, старик. Я даже плакал, накрывшись простыней, после того, как Отелло задушил Дездемону.

Покинув, наконец, это оздоровительное заведение, я узнал, что ночью наша подлодка уходит в море. Иерихонская труба выдал две хриплых фразы: «Ничего, губа от тебя не убежит. Твоя вахта с четырех утра». – И мрачным жестом командирского перста указал мне путь в сторону пирса.

Вечер был еще тот, плевался дождем, с моря доносился гул.

Спустился по трапу в стальную внутренность лодки, пробрался в свой родной торпедный отсек.

Старшина первой статьи Кириллюк, подложив замасленный ватник, дрых на торпеде. Матрос Степанов грыз воблу. Мой заместитель мичман Чернуха, подперев щеку, сидел у торпедного аппарата.

– Ну что, Чернуха, – спросил я, – полстакана неразведенного тебе бы сейчас не повредило, а?

Чернуха уныло заметил, что грех измываться над несчастным человеком.

По всей лодке раздалась команда иерихонской трубы: «Задраить люки. Готовиться к погружению».

Стали заполнять цистерны. Свистел воздух. Старшина Кириллюк, спавший на торпедке, зашевелился.

– Батьку с маткой во сне видал, – объявил он. – Товарищ командир, отпусти домой на недельку.

Лодка, тем временем, понемногу проваливалась в глубину. Щелкало в ушах. Сердце, словно само по себе, в одиночку, с сосущим страхом падало куда-то в бездну.

В море мы пробыли трое суток. На учениях моя торпедная часть отличилась. Все цели были поражены на пять с плюсом. Иерихонская труба пожал мне руку, отменил «губу», и обещал денежное вознаграждение в крупных размерах.

Возвращались ночью в надводном положении. Лодка, вздувая пенные усы, с шипением рассекала мрачную воду. Будучи вахтенным офицером, я бодрствовал в рубке и размышлял: чего же я жду? Один буль-буль, и все кончится.

После вахты, зайдя в галюн, я там обнаружил восседающую на бачке крысу Крыса была внушительных размеров, обросшая черной шерстью. Она меланхолически смотрела на меня своими тихими красноватыми глазками. Ей некуда было деться, и я вспомнил, что старпом обещал матросам по три дня отпуска за каждого подобного зверя. Я ее выпустил.

На берегу меня дожидалась телеграмма: «У нас сын. Целую. Валентина».

Я перелистал мой запас денежных знаков. Магазины были уже закрыты. В ресторане «Северное сияние» я купил по двойной цене ящик коньяка. Кутили в офицерской казарме, всю ночь, обмывали младенца. Так сказать, заочное крещение в морской купели. Старлей Ибрагимов рассказывал, как празднуют такое событие у него на родине в Туркестане. Мичман Чернуха печалился:

– А у меня одни девки.

– Халтурщик, – осудил командир электрической части Ванынин.

Я налил коньяку в жестяную с отбитой эмалью кружку, выпил залпом, и удивился, что мичман Чернуха, это ничто иное, как большая черная крыса. Мне захотелось ударить, я замахнулся кулаком, и Чернуха визгнул.

Тогда я пошел в соседнюю комнату, взобрался на стол, привязал веревку к крюку, на котором висела люстра, и сунул голову в петлю. Но в последний момент я замешкался, принявшись размышлять: куда я попаду, в ад, или, все-таки, в рай.

Приятеля, почуяв неладное, ворвались в двери и сдернули с моей шеи смертельную петлю. Я лягался. Вскользнув из их рук, я побежал по коридору, влетел в чью-то комнату и забился под кровать. Все попытки вытащить меня оттуда кончились неудачей. Я рычал и кусал их за пальцы. Друзья решили пригласить медицинскую помощь. Через определенное время дюжие санитары, опытные в таких делах, выудили меня пожарными баграми из моего убежища, стиснули локти и поволокли по коридору, по ступеням, и вниз, во двор, под моросящий дождик, к ожидающей там машине с крестом. Все было кончено.

## Железный

Я думаю, почему это так получается – казалось бы и весна, и должно быть светлей, а тяжело, хоть вешайся. Можно вешаться в шкафу, чтобы не подглядели в специальную просверленную для надзора дырку. Но найдут ведь, облагодетельствуют, вынут из петли, вызовут ноль три. Тук-тук, кто здесь живет? Каморка, я, дом восемь, на верхнем этаже. Когда появляюсь в коридоре, шушукаются.

– Кочерга гулять вышла.

Фаина прикусывает жало, муж ее проскальзывает по стене и прячется в туалете. Булькает борщ. Он состоит из мяса и костей. Муж ее – шофер продуктового магазина.

Угрюмые книги. Не хочется сегодня торчать дома!

Пахнет сырым бетоном и тряпкой.

– Минутку! – говорит Алла, – моя кровь дома?

– Кашлял.

Свет слепит, отражаясь от лба. Оказывается, уже час. Надо на Большую Пушкарскую. Надо как напильник. Для чего и на Пушкарскую. Напильники забрать. Он мои напильники не съест. На углу Ковров.

– Далеко? – спрашивает Ковров и вертит пальцами.

– Так. Гуляю.

– Так гуляет! Тут одно место, – и тянет меня за рукав.

Фургон перевозки почты переезжает трамвайные рельсы. Водосточная труба выплевывает на асфальт свои ледяные внутренности. Симулируя сумасшествие, психи проглатывают ложечки.

– Срежем через дворы, – предлагает Ковров. – У меня, кстати, руки чистые, мылом мою.

– Причина не в мыле.

– А в чем?

– Тебе не понять.

В чердачном оконце вспыхивает электросварка. Через три двора – на Кропоткина. Зря я иду за Ковровым. Знаю, что зря, а иду. Скоро Пасха.

– Предупреждаю сразу, – говорит Ковров, – девка – зверь.

Я думаю вот что: лестницы, как поезда. Ковров жмет звонок в квартиру, словно хочет выдавить глаз. Упав, хватаюсь за перила. Ковров смотрит на меня загадочно, сверху вниз, покачиваясь на своих итальянских лодочках.

Курят, немытые окна, на кухне сжигают цыплят. Рыжая девка ставит стул и наливает штрафной стакан.

– Закосеет!

Слюнки текут, как у подопытной собаки Павлова. Галинка сует гантель и тарелку с металлической стружкой: хряпай, кочерга, ломом будешь!

Спускаюсь по ступенькам и думаю: ну что я за человек? Какая дурь затащила меня за Ковровым? Шел бы себе за бессмысленными напильниками на Пушкарскую.



## Центр

Лежу, непомерно вытянутый в длину, гулкий, как коридор, и во мне голоса, шаги. Сам иду, коридор знаком, и справа, и слева таблички, на каждой – ЦЕНТР.

Я читаю: не те центры. Того, что нужен, здесь нет. И опять блуждаю по бесконечному коридору, путешествую в лифте, и везде: шаги, шарканье. У меня папка.

Я не уверен в их сходстве, они отнюдь не братья. Я мог бы перечислить их различия по пунктам, загибая пальцы. Новый поворот – очередной пункт в различиях. Сколько я загнул пальцев, столько машина сделала поворотов, удаляясь и удаляясь от центра к окраинам. Прекратить! Они, как две братские капли дождя на лобовом стекле. Словно в игре, выкидываю все пальцы.

Козырная десятка накрыла город. Стремительно лечу к центру.

Стоп. Грязно-серое здание, в окнах – мрак, иду, ноги-свинец, лестница, окурки. Шестой. На площадке детская коляска, в коляске кукла с оторванной головой и пачка старых газет. В темноте белеет табличка: ЦЕНТР.

Распахивает зверского вида бородач, шрам через харю. В руках короткий автомат.

– Только не в живот! – кричу ему.

Он буравит мой пуп огненным сверлом.

## Суббота

Суббота, окно дует. Ворона, сев на мусорный бак, раскидывает по двору бумажки. Капли, методичные, как время...

– Где это я? Хлебо завод?

– Какой хлебо завод? Смотри!..

Безлюдный бульвар. В звонкой бочке сердце заведено на смерть. Мясник глядит из-под складок красного мяса:

– Марш в машину!

Дом, садик, решетка. Четвертый этаж. Нетерпеливый звонок.

– Открывай!

Лязг запоров. Старик видит и пытается захлопнуть. Молот обрушивается ему на голову. Грохочет костыль. Лежит в прихожей, ощерясь искусственной челюстью.

– Пожалуй и к лучшему. – Мясник в кресле, бобровая шапка, полушубок расстегнут, покачивает лакированным рылом на рифленой подошве.

– Дует. Закрой окно! – приказывает мне. Я боюсь шагнуть. Луна – как серебряный выстрел. Я сыграл роль, секунды мои сочтены. Кто-то, скрипя, проводит по стеклу пальцем. Омерзительный звук.

Бегу на мороз. Там встречает балаболка-очередь. Чурбаки лежат на снегу. Или трупы? В машине пусто, дверца раскрыта, рой пуль.

Смотрю в ужаленное лобовое стекло: бегут, накреньясь, коробки. Поворачиваю, мчусь по проспекту. Все позади. Уношусь в ночь по пустынной автостраде.

## День флота

Воскресенье, июльский день. Взял газету: строй матросов на праздничной палубе, офицеры в белых перчатках, с кортиками, адмирал-орел, рука у козырька.

Невский затопила орда моряков в белых праздничных рубахах. Братва шумно стремилась к набережной, над садом плыл золотой адмиралтейский фрегат.

Пошел за матросами. Свои в доску, в тельняшку, бурные, в бескозырках.

– Куда, бомбовоз? – нагнала шлюха. – В бега?

– Га-га-га! – грохнули матросы белозубым смехом. Черные змейки, бронзовея якорьками, взвились у затылков, льнули к загару шей. Тельняшки штормили, глаза-буревестники. Замер в нерешительности между ними и разъяренной блудницей.

– Эй, берегись! – закричал матрос. – Сейчас эта вошь лохматая тебе ниже ватерлинии вцепится!

– Мазни ее по фасаду, чтоб штукатурка осыпалась – сразу отстанет, – предложил другой.

– Зачем такую хорошую девушку обижаете! – стыдил третий, с головой в форме корабельной рынды. – Кореш, махнем не глядя: ты нам ее на сутки в кубрик, а мы тебе бачок борща притараним, макарон по-флотски, новенький тельник. Лады?

– Откуда вы, ребята? – спросил я детей моря.

– С крейсера Кирова! – был дружный ответ.

– Как с Кирова? Киров – это я...

Матросы переглянулись.

– К адмиралу обратиться, – сказали. – Он сейчас в Гавани.

Матросы и шлюха ушли. Сговорились. Как они проведут по трапу под усами у вахтенного? Клешами завесят? Да ну ее в клюз!

За спиной грянула мажорная, как десятибальный шторм, музыка. Я оглянулся: по Невскому шествовал, дубая в барабаны и свирепю дую в блестящие трубы, духовой оркестр моряков. Туда путь отрезан. К набережной, три румба!

Двигалась густая толпа. Корабли на Неве украсились гирляндами цветных флажков. Самозванный крейсер Киров горделиво показывал на серой военной скуле цифру 264. Крейсер крепко держался на плаву, опираясь на оранжево-полосатые поплавки-барабаны. Катер с матросами болтался у борта. Белые рубахи с голубыми воротниками лезли по штормтрапу, таща и подталкивая в корму широкобедрую, захваченную на берегу добычу. Вахтенный и два золотопогонных сундука демонстративно отвернулись, покуривая. Вся картина была видна подробно, как в бинокль. Огнисто плясали прицельные крестики зноя.

Толпа гудела. В небе висели на ниточке виноградные грозди, цепляясь за серебристую рыбу-дирижабль. Я машинально перебрался на Васильевский остров и побрел к Гавани. Братва, ау! Какой магнит тянет? Моречко? Блестит что-то, алюминиевый кусочек.

Топ, топ и – Гавань. Морской ветер и солнце. Дом, на доме табличка: Адмирал А. А. Петров.

– Войдите!

За столом что-то студенистое, фуражка с крабом. Закатанные рукава.

– Арсений Аркадьевич, новенький! Крейсер Киров, – доложил ему из-за моей спины равнодушный голос.

## Майор

Во дворе на скамейках шуряют старухи. Разевается дверца. Бабье, обсуждая свежее мясо, тащат сумки. Голуби, кошка, солнечный асфальт. Майор задумчиво подпер кулаками кадровый подбородок. Четверть первого. Жарко.

В чемодане обвязанная шпагатом коробка.

– У Миловановой майор поселился! – оглашает двор скелет в сарафане. Обрита наголо, зубы выбиты, под очами свежие фонари. Новость эту она пытается вкричать в череп столетней подруге. Та сидит безучастно в толстом пальто из драпа, в меховой шапке с опущенными ушами, в валенках. Бульвар, цветут липы, летние платья.

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать: катастрофа! Самолеты взрываются на взлете. Подлюдки тонут, не отойдя от пирса. Армия небоеспособна. Армия умирает в бетоне казарм в жаркий летний день! Армия умирает внутри нас! – майор бьет черенком вилки в грудь, вермишель летит с неряшливых усов. На слезный вопль оглядываются с соседних столиков.

Придвигается, заглядывает в глаза. Желтые белки, слюна, перегар:

– Это не штаб! – шепчет он хрипло. – Это – клуб шахматистов и картежников. Игра по крупному. Ставка – жизнь. Проиграл – к стенке. Раздевают до носков. На груди, где сердце, рисуют синей ручкой круги-мишень. Целятся в десятку, в сосок. Называется: огневая подготовка, не выходя из кабинета. О-чень весело. Трупы зашивают в мешки и – в подвал. Ночью вывозят на грузовиках и закапывают в поле, в безымянных братских могилах... Я – из контрразведки, – шепчет он тише, почти неслышно, – Киргизов из контрразведки...

По коридору – грохот танка, тяжелая тележка. Катится калека без ног, отталкиваясь пустыми бутылками. Грудь кителя бренчит блюдами, пилотка набекрень. На лихом выраже инвалид отдает бутылкой честь и скрывается за поворотом. Грохот замирает. Ветеран войны.

Майор идет по городу, воздух – зола и пепел, бензин звереет к вечеру, моторы режут с мостов. Дома бегут в бетонных сапогах, скосив угрюмые квадраты-рамы, из разинутого окна орет в родильных муках рок-музыка. Двое на подоконнике роняют плевки в толпу и хохочут. Кидают бутылки, консервные банки, тухлые яйца, батарейки, горшок с фикусом. Тащат к подоконнику рыжую девку, пытаются выбросить на тротуар. Девка вырывается и визжит. Отпустив ее, расстегивают ширинки и встают во весь рост над текущей массой. Там несут плакат:

**СЧАСТЬЕ В НАШИХ РУКАХ. НОВАЯ МОЛНИЕНОСНАЯ СВЯЗЬ  
ПЕРЕВЕРНЕТ МИР**

Март, апрель... В конце мая – майор. Два просвета: один черный, другой белый – жизнь и смерть!

Медаль, раскаленная медь, скоро закатится. Река разругалась. Краны-гиганты. У парাপета чемодан.

– Эй! – нагоняет небритый. – Твой?

Огневой клубок вибрирует последними лучами. Мостовая горит, как пожар. Резкие звуки, краски. Машины идут сплошным потоком. Отблески бегают по горбатым металлическим спинам. Гул стального стада, сгоняемого с перекрестка жезлом-зеброй. Желтоглазо мигает испорченный светофор. Раздавленная кошка. Гудок оглушил. Смертоносный ветерок жарко обласкал лицо. Едва увернулся от устремленного на него бандитского бампера. Ярко-красный пикап.

Медлит диск, небо цвета хаки, звон похоронных литавр. Могучая грудь разукрашена ранами и орденами. Жди – зажгутся на этой груди звезды героев, два самолета низвергаются

в кратеры, прочерчивая через все небо огненно-розовые рубцы. Самолеты рушатся серебряными эскадрильями – в зарю, в горящий нефтью залив... Хватит! Пора прекратить парад!

Лестничные площадки играют в шашки. Черно-белые плитки блестят азартно и грозно. Поскорей пересечь доску игры.

Комната, окно. День на грани. Один шаг до стены. Босой стол. Обои-буквы. За стеной кто-то идет, за стеной на улице, шумно дыша. Идут, идут, идут на круглых, рубчатых ногах. Марш машин. Блестят стальные лбы. Противогазы в строгих очках маршируют, руки по швам. На приветствие маршала отвечают громовым троекратным ура. Пыхтя, тащат пушки. Гудят, колышась, бронированные туловища, из откинутых люков высовываются пятнистые ящерицы в касках...

Нет!!!

– Я расскажу историю. Пески, черепа солдат. Дрожит марево. Четыре точки с раскаленного горизонта. Вынырнув из-за бугра, встают в рост. Свирепые, крючконосые бородачи в меховых папах. Ватные халаты перекрещены пулеметными лентами, на поясах – гирлянды гранат. На плечах автоматы, полные рожки. С неба гул. Вертолет! Гортанный вскрик. Четыре грязных войлочных бороды вздернуты вверх. Автоматы нацелены в слепящее фиолетовое небо. Гремят очереди, сотрясая барханы. Потом бородачи идут к дому.

– К дому?

– Да, дом в пустыне. Обыкновенный бетонный дом, пять этажей. Живут обыкновенные мирные люди: женщины, дети, старики, старухи. Когда папахи с автоматами подходят и один берется за дверь первой парадной – дом взрывается. Со всеми жильцами. Секунда – и груда дымящихся развалин.

– И это все?

– Все.

## Жалейка

Музей? Музыкальных инструментов? Никто, ничего. Слыхом не слыхивали. Золотился купол.

Истоптанный снег. Желтая жижа. Что? Повторите, пожалуйста. – Вот глухая тетеря! Жетон, говорю, дай!

Что она так кричит, эта сердитая шуба? Требует! На каких основаниях? Рожает он жетоны?..

День на грани. Дрогнул. Скатится. У сумерек ушки на макушке. Месяц родился. Тоненький, беленький, дрожит. Ах, ты ягненок! Над крышей. Да это банк... Бодай его, рога-тенький мой! Колеса мчатся, опалелые, брызгая огнем и грязью. – 3-3-задавлю! – визжат. Шуба ждала. Глаза-фары.

– Олух! Дашь жетон или так и будешь варежкой хлопать?

А!.. Дошло до жирафа. Жетон нужен. Натё. Рад услужить. Болтается в кармане. Думал – монета.

– Наконец-то! Урюхал, фитиль. Иди, иди! Катись! Дуй в кларнеты! Лязгая диском, мотала номер. Туда-сюда. Безрезультатно. Там трубку не брали.

Он вздрогнул. Наглый коготь крутил диск у него в груди. Крутил, крутил, с нарастающей злостью, стервенея... Хруст. Сломался. Ах, музей уже не найти. Камни лысые. Адажио. Жаров, Журавлев, Жилин. Вот еще: Жалейка. Учреждение. Окна такие нежные, нежные, как манжеты дирижера, а их гасят, гасят. Кассы захлопываются. Портфели на хмурых ножках.

Шуба, бешеная, швырнула переговорную гантель ему в голову. Зло на нем срывать он не позволит! Не такой!

Банк, танк. Валюта. Валет. Век воли не видать. Народился серпик.

Спусковой крючок. Выжмем пульку – пижону в лоб. Стрелок, а стрелок? Ты где? Затаился... Целится...

Музей? Музыкальных инструментов? С луны упад? Пустили тебе сквозняк, кабель. Калган в дырочку.

– По справочнику тут. А тут – черт знает что. Банк...

– Эх, ты, Ванька! Вот что. У тебя легкая рука?

– Не знаю... – он поднял и опустил руку, взвешивая.

– Давай, лабух! Попробуй ты! – шуба протянула жетон.

– А что сказать?

– Скажи: сел петух на хату.

– Так и сказать?

– А как еще? Крути!.. – диктовала иглы-цифры. Насквозь.

– Тишина. Воды в рот набрали. Я бессилён. Я...

Побежал, полы длинного пальто путались. Шапка мешала. Шапка-крыша съезжала ему на окна.

Подворотня-живодерня. Горе мое! Солнце кинуло прощальный лучик-ключик. Я буду помнить об этом золотом ключике всю ночь, всю ночь. Он будет помнить. Твердо обещаю, ручаюсь узкими, как у женщины, длинными, длинными, семимильными, трепетными, форте-пьянными пиявками!

Жалейка! Жалейка!..

От Исакия до клюквенной Фонтанки. Колес, колес! Невский. Аничков мост ткнулся ему в плечо конской мордой. Отчаянье, ржанье. Аккорд укротит глухую тетерю. Какафония. Каша машин. Дайте диссонанс и я отрежу все уши! Чтоб не подслушивали мое бессвязное бормотанье, клубок боли и бреда! Разматывайся, разматывайся для лисьих лап!

Он бежал, толкал, опаздывал. Видели: страшен, смешон, неуместен. Был, не был. Семь било – кулак грома.

Дверь-бронза, вестибюль, хрусталь, парадный прыжок лестницы.

Ждали, махали, призывы, отливы. Ему, ей, ему – нет, только ей. Да, ей, теперь она, всю ночь, вскачь, до восхода солнца. Знаю эту историю. Облупленное яйцо. Я стоял на лестнице. Я, сам. Старушки-контролеры рвали входные краешки крыльев. Стоял, махал февральской вороной. Дирижер, дирижабль. Зверски знаменит! Люто! Махал вместо дирижерской палочки гроздью черноглазого винограда.

Она не любит финки? Дин-дин – деньжата. В форточку, на ветерок! Пачками – в печку! Ида – имя недоступной. Гора Фригии. На Рубинштейна. Банковское окошко выплюнуло миллион беззубых улыбок и захлопнулось. Шах и мат, конец маскарадного дня. Подкупающе логично. Оставим этот Вавилон...

Он видит: крыша, зимние сучья, маска с прорезями для глаз. Мельпомена-грабитель. Ему не двадцать, ему сорок. Жаль – шепнула она. Кругом зашипели. На него, на нее. Ми минор. Фонарь с набережной сунул в шторы раскаленную голову и слушал. Убери чакан! Ты! Машины сыпались, ревя колесами. Фары, фраки. Старинные музыкальные инструменты спали в ненайденном, несуществующем, выдуманном ему в насмешку доме.

## Лестница

Руки опускаются. Шоссе, буквы. Вставил в машинку лист пепла. Печатаю: «Загородный проспект...»

Ехать-то, ехать, а копошусь, то, се. Леший в зеркале. В шашечку стена. Щетка, вешалка. Пальто, как чужое, дичится, пыжится.

Амурские волны. Не люблю я лестниц. Старуха валяется на ступенях. Клетчатая мужская рубаха навывпуск, белые шерстяные носки. Пьяная?

Переступая, вижу: открыла глаз. Бровь в пластыре. – Эй! Слышь, ты! Сигарету!..

Туман. Корешок, шушера. Гол сокол! Кричу с падающей башни. Перышки ощиплют. Большие мастера. Быстро справятся. Будешь шелковым. Пропуск на тот свет. Без писка. Живее крути шариками. Лишнего им не надо. Плеснуть в стакан. Ларьки, кульки. Голова обтекаемой формы. Рыдает. Аэродинамично. Куси, куси его! На тротуаре футляр скрипки, вскрытая раковина, краснея от стыда, просит подаюня. Скупые плевки монет.

Метро гудит в мозгу, туннель под веками. Ворон машет, гоня вентиляционный ветер. Пунктирная линия сливается в сплошную, завихряется. На черном – слепящие кляксы станций. Эскалаторные ступени торопятся на поверхность. Рядом – ремонтируется. Каски, лампы. Неприятно видеть эти механические внутренности.

Троллейбусу нужен кондуктор. Требуется позарез. Рубль проплыл, влача за собой покорные печальные пальцы, а за ними и всего человека. Ресторан кивнул через улицу пивному бару.

Тротуар орет дворником. Мешаю метле. Глаза – канализационные люки. Борода запуталась в проводах.

Жуют, слюна. Рот в бокале. Обувь, меха. Ювелирные камни. К фасаду склонилась гигантская лестница, расставив на тротуаре толстые ноги, и заглядывает в окно верхнего этажа. Что такое? Пожар?

– Беги, раззява! – кричат сзади,

Звон. Загородный. Зря.



## Пистолет

Клюв из вороненой стали.

– Встать! Живо!

Пытаюсь исполнить команду, но – никак, Я не могу встать, я мертв. Это не я.

Осечка: надо мной стоит врач. Надо же! Он такой! Он, все-таки попробует поставить меня на ноги. У него за щекой припасены восемь сильнодействующих целебных пилюль. Он требует, чтобы я пошире раскрыл рот и проглотил лекарство. Поднимет и мертвого – уверяет врач. Воскресит молодца.

Я благодарен. Креплюсь, чтоб не разрыдаться, как дитя малое.

– Доктор, милый! Спасибо! Спасибо! Спасли. Вытащили из гроба. Теперь поправлюсь. Встану и пойду...

Личный номер на пистолете. Нет, не вспомнить. Цифры царапают. На стальной скуле буква пси.

Я не сдамся. Нельзя сдаваться. Я должен вспомнить, должен. Смерть многих...

– Встать! Вставай и вспоминай!..

Большой, бескровный. Спускаюсь по лестнице. Восстания. Метро. Толпа ворон. Когти ковшиком. Номер моего пистолета. Вижу: бежит по фризу огненными цифрами. Что? Воронье взвилось, унося тайну четырех арабских закорючек.

Рано радуются. Цыц! Наверное потерял. Четверка, девятка. На задворках...

Волк сидит на развилке дерева. Белый волк. Машина. Мотор работает. Пар вьется в блеске фары. Булькает канистра. Рука без перчатки. Тонкая такая. Симпатичная рученька. Смычком водить. Страшно: вот-вот увижу лицо! Рыло! Глаза, брови, рот, нос. С ноздрями! Ужас! Это уж слишком. Бежать! Волк стоит на дороге, не пускает, смотрит.

– Автово там?

– Там, там, – отвечаю.

– Едешь в одно место, а попадаешь к черту на кулички.

– Бывает...

Не смотреть выше шеи. Людей я могу терпеть только в безголовом виде. А этот, как нарочно, с головой до неба. Карман оттопырен. Пистолет.

– Лучшие в мире врачи, – говорит человек скорбно. Голос заглушен шарфом, которым он обмотал себе лицо, чтобы я мог смотреть на него безвредно, как на безликого, и выслушать его горе. Ну не горе – трудности.

Хорошо, хорошо. Такая кротость. История произошла с ним! Надеюсь.

То же самое и со мной, в том же городе, на тех же улицах, под тем же, переплетенным проводами и утыканным трубами небом. Рассказ связан с лестницами, хирургическими инструментами, дворами, с улицы на улицу. Рассказ бессвязен. Номер, который я ищу... Бесспорно одно: четверка и девятка. Теперь и это... Предупреждаю: я боюсь высоты, веревок, врачей, улицы Гороховой в отрезке от Мойки до Адмиралтейского проспекта и – всей моей прежней жизни...

Троллейбус...

Машина ушла. Волк на дереве. Что-то наподобие вторника. В стакане. Я просил не разматывать шарфа, я всего лишь просил не разматывать этого серого косматого шарфа, я убедительно просил не разматывать шарфа! Я просил не разматывать бинтов!..

Оружейная комната. Рот ощерен двумя рядами патронов. Разбирает смех. Сорвутся предохранители, взведутся курки, заразаясь весельем, и все оружие, какое тут есть, загрохочет гомерическим хохотом...

Хорошо ли я выспался на составленных стульях? Пистолет. Дело не в чистоте дула. Номер. Оружие старое, ветеран, послужило на своем веку. Сталь стерта добела. Соль. Железный холодильник дует в затылок. Гроза разразится. Рано еще. За тобой должок. Ты еще не все тут. Час полновесной расплаты. Мы-то знаем. Потерпи суток трое, Ты у цели. Почти. Крыши, крыши, у нас заговор. Секрет. Молчок – до поры! Мумия-Петербург смотрит, смотрит...

Пистолет в кобуру и выхожу в коридор. Никого. Ни мерзавца, ни негодяя. Спускаюсь по лестнице. Ямы-котлованы, траншеи, окопы. Цемент, бетон.

Строения черны. Город падает. Двухногие колонны. Переполнены злобой. Рука в перчатке колючей проволоки. Под током. Окно на шестом.

– Стой тут и не спускай глаз! Он не тряпка.

Десятиэтажная горилла продает очки, диваны, меха, ноты, услуги нотариуса. Яркий враг, рубли-когти. Огрызок приличия в спортивных тапочках и штанах массажиста. Что ему? Штык в зубы? Манекены за стеклом построились в шеренгу и повернулись к улице – миниюбочки, целлулоидные овалы, руки по швам, ступни врозь. Гильза на грязном асфальте. Кто стрелял?

На тротуаре черном, черном. Окно арестовано. Там прячется сволочь, с которой все, кому не лень, сводят счеты. Шкаф-фагот, стул-скрипка. Медная струна нерва, натянутая на меланхолический позвоночник. Стоит за шторой и целит в щелку.

Благодарю. Вы чрезвычайно любезны. Я не войду. Моя фамилия – Невойдовский.

Спина уносится в толпе спин. Гонимые снежные хлопья спин. Эта – прожженная окурками. Трус! Слякоть! Куда – интересно знать? Позвольте! Сегодня у нас что? Чайковский? Смычок в туннеле пилит бревно. Пилит, пилит. Стараются. В-з-з, в-з-з. Да, этого следовало ожидать.

Галерная 7. Угол крыши и полукруг луны в черном небе смотрит в правую сторону. Мерзавец. И Всадник и звездочка. Фонари-чайки. Купол Исакия – ком мрака. Огоньки, Астория, неотразимый удар. На Гороховую. Подворотня, кошки. Мрачная лампочка.

Как по нотам. Сделает решето через дверную цепочку. Чисто, без отпечатков и воплей, в упор. Незванный татарин. Жду, бестрепетен, сердце стальное, одетое в кору кобуры. Весело. Разбирает смех. На части. Дом 9, квартира 4. Вот он я – тут. Не чирикать!..

Грохнул о бетон. Лом? Селена? Сантехник? Топчусь, ничего похожего. Дворники жгут ящики из магазина. Смотрю на огонь, зачарованный. До конца дней моих стоял бы так и смотрел. Он – единственный человек, с которым у меня получается чепуха. У него открытое лицо. Как дверь в подвал. Отпетый головорез. Не забудь гильзу. О каждом истраченном патроне – отчет.

О чем они тарабарт? О мордастях? О мужчинах и женщинах в этом колесе? Вермишель серая, шевелится. Почти невероятно услышать что-нибудь новенькое в таком, забытом богом месте. Тужурки лопаются у них на плечах. Не случайно. Ширман, шины. За крышами кровавый шар сжат клешнями. Зимний закат. Кто сказал: на канале?

– Пятьсот рублей – лимончики! По пятьсот! Налетай!

Торговки на Сенной.

На Каменном мосту метнулась белая шапка, ощерясь железными зубами. Плоский, прямоугольный предмет, обернутый в толстую бумагу, под мышкой. Картина? Не успею, нет, не успею. Мысли уже не те, не злые, раскисли. Вон той голубой подсветки не было ведь раньше. Трактир, трактат, бремя, брюхо, дребедень, бестолочь. Я запутался в собачьей жизни, в собственной язычно сотканной паутине лжи. Не палить же в воздух, как полоумному. Небо-баранка. Таксисты-жуки дежурят ночь напролет – у таких клубничек.

Надеюсь, на этот раз повезет. Да тот ли это дом! Искал усы, а нашел косу. Тахта, рухлядь. Лежит и ждет. Нож в живот. Ева с дынями.

Длинные рюмки. Говорящий мужик на изогнутом стуле. Шляпа, вот такая же, плавала в черной полынье. За мостом, как всегда – 27. Красный, неизменно красный семафор.

Кабинка с клавишным телефоном-автоматом. Снег, грязь. Грохочут фургоны. Двигаются двуногие фигуры на ходулях, достигая гигантских размеров. Гирлянды лампочек качаются во мраке по всей улице, бьются о балконы. Троллейбус, рога. Галерная, подвальные окна, свечи на столах, голые ноги, пиявочный бантик фартука, золотой эполет. Снег между камней брусчатки и на ступенях, и на двух гранитных пеньках у подворотни. Снег-свидетель. И все сначала. Я в круге. Переулок важничает манжетами с запонками канализационных люков. Мокро блестящий мрак. Провал, полный.

А ты кто такой? Звучное, здоровое сердце. Гравировка: от сослуживцев. Кручу головку завода до отказа. Восьмой, вечера. Мыльный пузырь.

Красный табурет с белыми ножками, такими тонкими, такими непрочными, как это они еще не переломились, мушиные... Волчий счетчик. Включен. Долг растет, не по часам – по секундам. Гора, Памир, Тянь-шань. Развязывается узелок жизни. Не выдержу! Должен выдерживать! Должен, должен, должен!..

Рыбу, мясо. Ноги в лампах, в реве города...

Смена охраны. Поет петух. В третий раз.

– Сержант Цепнов! В дежурку!

Черный чай Зимней канавки. Нефтяной. Вижу краешком вырезанного бритвой глаза: железные ворота на Неву распахнуты – и первые, и вторые, и третьи. Из них вылетает рой кокард и грубо-голубой фургон.

С новой Невой. Все ново. С кем, против кого? Тут нет выбора. На Выборг. Юг, север, запад, восток. Сухая известка. Видавший виды и медные воды, в трубах, в гробах. Мундир, музей. Сержант Цепнов в халате уборщицы сметает шваброй стреляные гильзы. Профессия у нас такая: разить из-под козырька закона.

Душеразрывающий. Твой город. Щербатый сфинкс из Фив.

– Эй! – дышит в лицо буря.

– Сколько дней и ночей?

– Ты река – тебе и карты в руки. Иглы твои петропавлопритуп-ленные.

– Устала я, ох, устала течь к Балтийскому морю.

Голос замер, заглушенный шумом машин на набережной. Шмалят. Черняшку-шири. Шланг не хочет ширенхать. К нему идет шмира, обшмонает шмеля в очке.

Есть подозрение, что пятница.

Снег резанной свиньей визжит на Миллионной. Грудь перекрещена трамвайными рельсами, волосы-фонари. Руки в клейком, руки-улики. Горящие руки! Не спрятать! Стою на углу и думаю.

Тормозит. Вылез.

– Капитан Петродуйло! – представляется, выпучив патрульные фары. Из кабины нацелены два автомата. – Руки! – ревет он.

Покорно показываю. Предательницы дрожат. Жду стального объятья браслетов на моих запястьях.

– К свету!

Сую к фаре. Руки как руки. Как у всех. Петродуйло – ресницы-щупальцы. Резиновый меч покачивается-покручивается, свисая на петельке с пальца.

– Дуй, пока добрые! – рывкает капитан.

Не нужно повторного приглашения. Спокоен, гильза. Мощью спокойствия я могу померяться с мертвецом. Петродуйло проглотил дулю. Ничего преступного он у меня не обнаружит.

Шуберт, жалоба рожка. Беспомощно нежная нота, пар жемчужного дыхания, статуи в саду, малахитовый подсвечник Урала. Метро-мурло. Литовская-Достоевская.

– Эй, сурло! Стой! – Шляпка набекрень. – Псы поганые! Роются, как в скифском кургане...

Смотрю: размалеванная шалава. Падает в сугроб. Караул! Грабят! Режут! Шума на миллион, а барыша на вошь.

Бегу. Сердце гремит в горле. Давай, давай, поднажми! Дома, пустырь. Ремонт, резкие лампочки, подвалы, бочки, доски, «козлы», залитый цементом пол. Ни двора, ни дома 18. Своем гонится чудище, держа в круге прицельных фар. На Мясную. Бьют в спину. Канал, плывут шляпки грибов. То место, где настигнут и пришьют. Капитан Петродуйло – усы целят в стороны дула двух пистолетов.

Взлетел по лестнице. Дверь зевает. Кавардак, щетки. Кто-то тихонько поет в ванной. Сидит на табурете, отмачивая ноги в синем эмалированном тазу с солью. Устала, топотунья, по тротуарам, по туннелям. Ступни распаренные, красные. Ногти вырезаны с мясом.

Голова сержанта Цепнова спит на столе. Живот Данаи, золотой дождь, кислота, нож.

Руки по швам, рот-медаль, нос-орден. Не шелохнется. Убитые горем родичи и сослуживцы, обутые поверх сапог в войлочные, музейные, бесшумные тапки на резинках. Лежит, бедный, седьмой день, терпит муку, неслыханную на земле. Должен встать и сказать. Должен и – не может!

Стоят в сторонке. Шу-шу, шу-шу. О нем? Суровая и нежная нити свились. Замолкают, их встревожил шум на улице, идут к окну.

– Что там?..

Сдует стекла с домов и забросит в залив. Пожар! Ай-я-яй! Гостиница «Европейская» вычесывает огненным гребешком из рыжих косм обгорелых мошек и стряхивает на тротуар.

Жаворонки ржаные. Прибыл высокий гость. Очистят Невский жезлами. Промчится под бронированным колпаком. Меха, музыка. Умерла? Выбегают из Филармонии, срывая за волосы черепа.

«Мир», книжно, людно. Резко – руки. Оставили по приказу. Возможно, их увлек вожделенный предмет. Двери, двери, к ним нельзя прикасаться. «Нева» в журнальных берегах. Бронза огрызается. Матрос, троллейбус, целлулоидные ноги футболят витрину. Огни не греют. Яркий, мертвый мир.

Изюм, инжир. От них веет ужасом, гарью вокзалов. Не зажигаю, боюсь затылком, лопатками. Жду шляпку. Избавит от страхов. Она гранит. О нее опереться.

Автомобильная пробка – от Сенной до Большой Морской. Заткну уши и лягу. Голоса сирен. Сиренят по всему району.

Лиц у них нет, потому что нельзя в вечернее время выходить с лицом на улицу безнаказанно. Строго запрещено. Кто осмелится нарушить указ, не спрячет свое лицо или не оставит его дома, того в лучшем случае... В худшем – куда-то увозят... Поэтому на улицах стертые лица. Иногда фигуры смотрят на окно. Одна такая стоит и смотрит. Взгляд-пуля.

Старуха жадно заглядывает в спальню. Охрана спит. Голова на столе, руки простерты. Страдивари, сердцу осталось полчаса. Бедное, загнанное на десятый этаж животное. Я не в состоянии ответить ни на один из простых и прямо поставленных вопросов. Рембрандт роет яму, лопата, фонарь. Мы близнецы-сиамцы. Номерок у крыс. Я вспомнил. Не то, опять не то, что требуется. Требуха, топор...

Сняла сапоги, бросила крест-накрест. Идет в чулках. Змеи сада. Зоркие здания. Геракл и безногая матросня. Луна-сфинкс. Стереть пулей с лица земли неуловимую гадину. Достану со дна колодца. Полу-четверг, полу-творог. Однорукое дерево. Курит, санитарные скулы в румянцах йода. Он тут. Телефон на клочке. Шанс – расквитаться, сейчас же. Не упустить!

Хорошо, хорошо. Город-пистолет у меня в кобуре. Я – неразговорчивый язычок спускового крючка. Тугой спуск. Трудно выдавить коротенькое, как вскрик – о жизни и смерти. Он у меня на мушке. Шорох, как песок морской, толп. Щучьи лампы. Пороша шипит. Мойка. Пельменная. Два чугунных уродца в тарелках-шляпах. Старики в метро. Заспанный утиный

нос, неотмытые бумажки, президент, очки-черви, губы-плевки, нефтяной жираф, испанцы с синевой.

– Невский проспект? Си?

Кроме монет. Сумки, локти. Посидеть бы спокойно, как зверь в клетке, чтоб не толкали.

Пушкин, печально. Неукрепленная иммунитетная система. Капелла, разговоры, упавшие с жующих столиков. Пистолет теплый. Железный пот. Жизнерадостно встать во весь непредвиденный рост и прекратить концерт. Вокруг много разного сброда, готового лизать пятки. А человека нет. Многострадального Иова. Может быть, она и не белая, а только кажется такой в жуликоватый час сумерек. Вижу, кожей:

Он тут. Одному из нас – лежать. Это говорю я! Говорю, взвесив свое слово.

Передаю по буквам: Харитон, Рая, Илья, Семен, Тимофей, Ольга, Святослав, Задержать и распять!

Проведу пальцем по небу и на пальце останется кровь. Краска-ловушка, в которую попадают руки воров и убийц.

Капитан Петродуило. Резиновый меч покачивается-покручивается. Тамбов, Воронеж.

С адресом. Четверка, девятка. Сумерки, брызги. Толпа валит к трамваю. Под колеса. Режет, орут. Сидит, тихая, там, ступни в тазу. Слова-искорки – кто-то их подносит к моим губам, дразня, и опять уносит.

Торопись. Ты потерял много часов. Много. Путаница теней. Двор, фургон. Та-та-та. Вверх-вниз. Ковыляет по вагону костыль. Ладонь, протянутая ко мне, просит подаянья. Кладу гильзу. Взглянул пронизательно. Зажал в кулаке.

Чернеют. Мне нужно совсем другое, совсем другое, то, чего у вас нет и не может этого у вас, у двуногих, быть.

Пустой пьедестал. Оплеванные уставы.

– Ежов!

– Здесь!

– Прочитай, что у тебя в руке и иди!

Разжал кулак: выстрел!

Иду, озаренный торговым светом. Гороховая 9. Ждать. Он придет. Ему некуда. Шинель. Мрак на полгода – козырек, надвинутый на глаза, рыла сапог, шевроны на рукавах, выжженный клеймом уголовного закона мозг, грубая работка.

По стеклу ходят тени. Кто-то пытается рассмотреть. Губы шевелятся, выпячиваются – дуть на горячее блюдо. Трубы-шеи поросли ржавой шерстью, рискованная лестница – в небо.

Там, за окном, наконец, остофельдфебело пучить бельма, они ушли. Несытые, гнусные.

Темная фигура. Это он! Тяжести не существует. Он – точно вырезанный из бумаги. Его сдувает в пропасть. Нет, он стоит твердо.

Он стоит, такой же серый, как я, также одет, такого же роста, смотрит в правую сторону. Я стреляю – он падает.

Звездочка? Это еще та звездочка! Видел я ее уже! Что она на этот раз скажет?..

Окно отделилось от стены и подошло ко мне на шерстяных собачьих ногах. Собачьих? Туманный месяц стоит в небе, наивный такой, нежно-опушенный, одухотворенный месяц, и мимо, перечеркивая его, пролетают стаи крикливых птиц, несутся и несутся, и кричат, испуганные чем-то, кучи размашистых черных птиц. Когда же рассвет? – спрашиваю я месяц и этих птиц. Когда же придет спасительный рассвет и вызволит меня из этой ямы? Знаете ли вы, мои милые, что сил уж моих нет лежать здесь пластом и слушать, как храпят другие, моченьки уж моей нет быть прикованным неразрывными цепями к больничной койке!

Я лежу без движения. Если не четверг, то выкарабкаюсь – стучит в мозг. Стучит, стучит. Четверка и девятка переплелись крысиными хвостами. Их не разнять. Личный номер моего пистолета: 4998. Я вспомнил. Теперь я спокоен.

Я беру лопату и рою могилу, рою, рою глубокую могилу, самую глубокую в мире могилу. Я бросаю в нее мой пистолет и забрасываю комьями черной сырой земли, забрасываю, забрасываю... Вот и все.

## Загинайло

### Повесть

#### 1

Морской офицер шел по городу. Вразвалочку, медведь в черной флотской шинели. Шапка-ушанка с кокардой-крабом, белое кашне, старший лейтенант. Адрес: Литовский проспект, дом № 145. Траурная телеграмма с вестью о смерти брата. Эта телеграмма, полученная два месяца назад, и причина его целенаправленного движения. Офицер дошел до переулка Тюшина. То самое, желто-этажное, хрен-горчица. Обводный канал. Трамвай гремит через мост. Одна дверь – ВИНО, другая – ПОЛК ОХРАНЫ № 3. Тугая пружина – для руки геркулеса, слабосильный не войдет. Внутри стража: сержант с автоматом. В отдел кадров? Третий этаж. Офицер поморщил нос: в галльоне чище, чем в этом учреждении. На лестничной площадке третьего этажа бутылка на виду поставлена, посередке, на проходе, длинное красивое горлышко. Пустая бутылочка, вино выпито. Зачем тут стоит, черт знает. Окно на площадке разбито, зубцы торчат, острые, как ножи. Со двора несет ужасным смрадом. Черный дым и чад. Как будто там дохлых кошек жарят. Морской офицер посмотрел: что там? Дворники костер жгут. Эх, какой кострище запалили!..

За его спиной раздался яростный вопль и удар ногой в дверь. На площадку вышел, изрыгая ругательства, седоусый майор милиции в форменной голубой рубашке с закатанными рукавами; он нес в руках аквариум, в котором плавали кверху брюхом дохлые рыбки. Вода, бултыхаясь, переливалась через край и мочила майору его штаны-бриджи с красным шнуром, лилась за раструб голенища ему в сапог.

- Чего тебе? – спросил майор, узрев посетителя.
- Начальник отдела кадров нужен, – заявил морской офицер.
- Я начальник отдела кадров, – буркнул майор. – Подержи.

Моряк угрюмо взял аквариум. Майор, засучив еще выше рукав рубашки и обнажив до плеча сильную, поросшую седым волосом руку, стал вылавливать дохлых длиннохвостых рыбешек в чешуйках кольчуг, и одну за другой выбрасывал через разбитое стекло в колодезь двора. Всех до последней. Как будто побоище.

– Отравы подсыпали! Сволочи! – майор злобно выругался. Забрал обратно стеклянный ящик с осиротелой водой. Заметив у моряка татуировку на кисти правой руки, якорь, обвитый двуглавым змеем, воскликнул, заинтересованный:

– Дай-ка, дай-ка! – Держа аквариум под мышкой, взял руку моряка, разглядывал. – С двумя башками впервые вижу. Всегда с одной рисуют. У нас тоже мастера есть. Похлеще, чем у вас на флоте. По татуировкам я спец. У меня альбом. Коллекционирую. Ты кто? Загинайло? Роман? Данилыч? Знаю. Запрос о тебе. У нас был Загинайло. В первом батальоне. Петр. Брат твой?

Моряк кивнул.

– Идем! – Майор ринулся в проем двери со своим аквариумом, как тараном.

Коридор-кишка. Майор впереди, Загинайло – за ним. Двери кабинетов по обеим сторонам открывались, выглядывали любопытные, стриженные под ежик, лбы и тут же прятались.

– Мерзавец на мерзавце! – охарактеризовал их майор. – Подонки все до одного! Кляузы на меня каждый день строчат в Управление!

Майор остановился у двери отдела кадров, она была приоткрыта.

– Иван Кузмич идет! – раздался изнутри чей-то предостерегающий голос. – Помочь, Иван Кузмич?

– Помощнички! – рявкнул, входя, майор. Пригласил Загинайло следовать за ним.

Помещение, не сказать, обширное. Тесненько. Накурено – топор вешай. Всего тут четверо. Машинистка-сержант, могучего телосложения, громоздась на высоком табурете, как орлица на скале, закрыв веки, автоматически, вслепую стучала по лязгающим клавишам. Дальше, три инспектора кадров, каждый за своим столом: капитан и два лейтенанта – просто лейтенант и младший. Капитан черняв, лейтенант – рус, младший лейтенант – рыж. Все трое пили чай в граненых стаканах с подстаканниками. Они вели веселый разговор, лица лоснились. Майор-начальник грозно зыркнул на них из-под косматых бровей:

– Так. Чаек попиваем да похабными анекдотами развлекаемся! Что-то у вас подозрительно рожи сияют. Глаза как у кроликов. На десять минут нельзя оставить без присмотра.

Майор, минуя машинистку, которая все также сомнамбулически шлепала по клавишам и передвигала каретку, направился к себе в кабинет. Загинайло следом. Майор поставил аквариум на свой широкий, как пристань, двухтумбовый стол.

– Садись, – сказал он Загинайло. Сам сел напротив. Окно с решеткой. Шум проспекта.

Все требуемые документы Загинайло принес. И рекомендацию с флота.

– Ну что, морской волк, – сказал майор. – У нас ведь тут нет ни северного сияния, ни полярных-заполярных, ни мармелада, никаких-таких прелестей. У нас, знаешь, другой профиль: воры, грабители, насильники, убийцы, проститутки, бандитизм. Выбирай, что твоей морской душе угодно. У нас мор на командиров взводов, везде дыры, как в космосе. Вот и залатывай. Вопиющий недокомплект на эту собачью должность. Такое уж у нас черное и неблагодарное дело, белым оно только в бинтах, на больничных койках, да вот на бумаге. Я человек прямой и поэтому говорю тебе со всей откровенностью, чтобы ты потом не рвал себе волосы на голове, у тебя их и так не густо, плешь, как полярная льдина, больше моей, а тебе ведь еще и тридцати нет. Ну что?

– Решено. – Загинайло посмотрел в глаза майору твердым взглядом.

– Тогда пиши заявление! – майор протянул лист бумаги. – У нас контракт. Как душу черту. Кровью пишем. Для офицерского состава бессрочный. По гроб. Из Мурманска – и прямо к нам. Лихо, лихо у тебя получается. Да. Бумеранг.

– Что? – не понял Загинайло.

– Да, да, бумеранг, – вздохнул майор. – Возвращение с того света. Вот гляжу я на тебя, не нагляжусь, и у меня большое недоумение насчет того, чего ты сюда приперся, по какой-такой охоте или велению сердца. К нам идут по-разному. А ты что? Твой брат капитан милиции Петр Загинайло погиб при загадочных обстоятельствах. Труп нашли в Малой Невке. С пробитым черепом. Темная история. А ты на смену, значит. Бороться с преступностью. Так, так. А ты, как вылитый, на него похож, на своего братишку, как две капли. Тот повыше был, потоньше, стройный, быстрый. А ты – увалень. А вот мордой очень похожи. Близнецы? А?

– Нет. Не близнецы. Он старший. Два года разницы. – Загинайло сидел тяжело. Левша. Пишущую ручку держал в левой, а каменный кулак правой с крепко сжатыми толстыми пальцами увесисто покоился на столе.

Он написал заявление и заполнил анкету. Оформление и проверка займет месяц, может, и меньше, это как повернется. Во всяком случае, майор примет меры, чтобы не тормозить дело, а наоборот: ускорить процедуру приема столь ценного для них кадра. А пока, вот: направление в приемную медкомиссию. Сегодня, пожалуй, уже поздноватенько. А вот завтра, пораньше, к восьми утра, на улицу Гоголя дом десять и начать. Майор, закончив разговор, сидел в своем кресле какой-то обмякший, седые усы повисли, как будто от последних сказанных им слов силы вдруг его покинули. Он с тоской смотрел на свой осиротелый аквариум, где не плавало ни одной рыбки.



Загинайло миновал комнату инспекторов. Они, кончив пить чай, зарылись в бумаги. У рыжего младшего лейтенанта два его уха над грудой папок пылали, как два алых мака. Машинистка-титанша хоть и продолжала без усталости колотить по клавишам своего пишущего бронтозавра, открыла одно око и взглянула на Загинайло с хищным интересом, проследив его путь до двери.

Коридор пустовал. Лестничная площадка. А бутылочка-то – тютю. Испарилась. Костер на дворе догорел. Загинайло не спеша спустился на первый этаж. Вдруг дверь парадной рванули, так что пружина чуть не слетела. Грохот, борьба, грубый окрик:

– Стоять! К стене!

Два дюжих милицейских полушубка, овечьи шапки-мерлушки, и какой-то хлыщ, лысый, как булыжник, кожаное пальто до пят. Подозрительный тип, гулял по Лиговскому проспекту с голой головой – вот и попался патрулю. Поставили лицом к стене, под углом 45 градусов, приказав раздвинуть ноги циркулем, до упора, и полушубок-прапорщик, склонясь, проворно обшмонал обеими руками покорную фигуру. Товарищ его, здоровяк-старшина, наблюдал, ковыряя в носу. Страж-автоматчик отвернулся со скупающим видом. Блюстителю порядка пропустили Загинайло, не взглянув на него.

Загинайло пошел пешком по Обводному. К Балтийскому вокзалу. Еще один адрес. Куда якорь бросить. Глаза щипало. Дым, вонь, гарь, грохот. Густой автопоток. Грузовики проносились, ревя и крутясь громадными колесами; за ними тянулся черный выхлопной хвост. Дошел до Варшавского вокзала. Трамвайное кольцо. Церковь без креста, мрачная, закопченная. Чугунный колосс с вытянутой рукой. Мутно. И как бы вечер, толпа, сутолока. Тарелки на тротуаре, на тарелках черное мясо. Схватят кусок и бегут прочь. Одноногий старик на костылях пытался дотянуться до тарелки, поскользнулся и грохнулся затылком об асфальт... Загинайло закрыл глаза, опять открыл. Площадь. Это уж он добрал до другого вокзала. Это Балтийский. Они как два брата, рядышком. Стекланные своды. Как бы рынок. Свиные рыла, зажмурив мертвые веки, выставили пятаки с ноздрями... Зал ожидания, гул пчел. Окошечко, часы чинят. Золотые, подарок, с гравировкой на крышке: «Помни брата». Не чирикают часики-то. Сутки напролет показывают одно и то же время: половина шестого... Услышал за спиной свое имя и почувствовал крепкий удар дружеской руки по плечу. Обернулся: перед ним Рашид Абдураимов, веселая душа, глаза-черносливы смеются.

– Гора к Магомету! – закричал, белозубо смеясь, Абдураимов.

– Нет! – возразил Загинайло. – Магомет к горе. Я к тебе шел, а ты сам тут!

Абдураимов – богатырь. Природа, любя, не скупясь, дала ему от щедрот своих все: рост, силу, здоровье, грудь шире Каракумов. Бригадир водолазов в порту. Ему и скафандра не могли подобрать его размера, по спецзаказу на Канонерском заводе изготовляли.

– Славная, славная встреча! – радовался Абдураимов и опять хлопнул Загинайло по плечу. – Эх, мурманские ночки-денечки! Как врежу стакан, так и вспомню. – Абдураимов кричал громовым голосом во всю силу своих могучих водолазных легких, заглушая шум толпы в зале ожидания. Радость встречи его распирала, и сдерживать свои чувства он не находил нужным, да просто не умел. Люди в испуге глядели на него со скамей, как на хулиганское явление.

– Я сюда пожрать прихожу, – объяснил он Загинайло. – Тут на вокзале ресторанишко, директор – земляк, узбек. Гребем! Утощаю! Закатим пир горой! У меня там личный столик, до гробовой крышки, никому там нельзя сидеть, все знают, официанты подносами посетителей отгоняют. Там и табличка стоит: «Занимать запрещено! Столик водолаза Абдураимова!» Но дураков у нас хоть режь, хоть под поезд бросай, сам знаешь. Все равно, олухи безграмотные, лезут. Я к столику ток высокого напряжения подключу, протащу подводный кабель сюда из порта по дну Обводного, чтоб, как дотронется какой-нибудь баран, так и убивало бы этого гада на месте! Будут знать, кто такой водолаз Абдураимов, известный всему Мурманску и Заполярному краю! А? Как ты думаешь? – болтал без умолку Абдураимов, таща своего друга в вок-

зальный ресторан. Загинайло слушал с усмешечкой. Сели за тот самый персональный столик у окна. В зале накурено страшно, фигуры как в тумане. Из этого тумана вынырнул официант, лоб пылает свежим багровым рубцом, наискось, от виска к брови. Почтительно склонясь перед Абдураимовым, принял заказ. Умчался. Минуты не прошло. Молнией обратно, с полным подносом, все, что грозный водолаз заказал: бутылка коньяка, закуски и в горшках горячий, дымящийся, настоящий узбекский плов.

Абдураимов восторженно потер руки:

– Такой пловчик ты не едал! Таким кушаньем гурии в раю героев потчуют! А больше ни одну тварь земную! Не положено. Божественный пловчик! Не обожгись! Вулкан! – Абдураимов, перестав есть, ткнул пальцем в погон Загинайло.

– А! Третья! Звезды на тебя так и сыпятся. Моргнуть не успею – адмиралом будешь! А моя жизнь – буль-буль. Барокамера. Ну ее к шакалу! У меня тут на Шкапина комната, жена живет, а я там не живу. – Абдураимов поморщился, словно жизнь с женой, это отвратительно, как таранул.

Они пили, зал гудел, играла музыка. Загинайло за окно взгляд бросил. Тяжелый взгляд. Как камень в черную воду. А по воде круги. И как из-под воды выползал чудовищным морским змеем мутновозгонный поезд.

– Мрачный ты тип, – сказал Абдураимов. – Ни на грамм не изменился. Все молчишь и о чем-то думаешь. И о чем ты думаешь, Омар Хаям? Мудрость на Востоке, заруби себе на носу! Все на Востоке – и душа, и женщины, и верблюды! А здесь что? Холод, скука, гранит! – Абдураимов наполнил бокалы, поднял свой, прищурясь, посмотрел с сомнением на не вызывающую доверия мутно-желтую жидкость и, покачав головой, опрокинул в широко раскрытый рот, как в воронку.

– Я думаю: где мне причалить сегодня на ночь, – ответил Загинайло. – Твой адрес у меня, я и шел, а теперь выходит, к тебе на Шкапина нельзя. Так я понимаю.

– Есть место! Не беспокойся! – заверил Абдураимов. – Ночлег я тебе обещаю сногшибательный, в гостинице такого комфорта не бывает. У меня в порту хибара на водолазном плотике, там у нас наше водолазное имущество хранится. Там я и обитаю.

Абдураимов смеялся звонким богатырским смехом во все свое круглое узбекское лицо, зубы блестели, крепкие, как у верблюда, царя пустыни. Абдураимов был чрезвычайно жизнерадостный человек, веселая, широкая, щедрая душа. Он излучал свет такой могучей силы, что при его погружении даже в самый крошечный мрак самой черной бухты к его лицу, сияющему улыбкой сквозь толстое стекло водолазного шлема, как на яркий подводный фонарь, устремлялись стаи рыб со всего залива и мешали ему работать, обступив густой тучей, толкаясь, все лезли целоваться, бурно выражая свою любовь, обезумев от восторга и страстного обожания. Загинайло позавидовал такой жизнерадостности. Сам он, надо признаться, действительно был мрачноватый тип, душа его большую часть времени была погружена во мрак.

Они уж доканчивали вторую бутылку коньяка, когда к их столику подошел в сопровождении официанта (другого, не обладателя рубца на лбу) какой-то человек, одетый в железнодорожную форму: черный мундир с золотыми пуговицами, фуражка с красным верхом, козырек украшен серебряными вензелями. То ли начальник вокзала, то ли швейцар. Официант тоже, как бы железнодорожник, в форме контролера. Галстук, как черный рак, вцепился клешней ему в шею, словно утопленнику, и настолько сильно стиснул горло, что бедняга не мог выговорить ни единого слова. Он, вытаращив налитые кровью глаза, попытался изъясняться задушенным мычаньем, выразительной мимикой и театральными жестами, тыча перстом в золотую пуговицу на пузе подозрительного гуся-начальника.

– Чего он хочет? – попросил разъяснений у Загинайло обескураженный Абдураимов.

– Дай ему в морду разок! – посоветовал Загинайло таким безжалостным голосом, как будто он произнес смертный приговор.

– Нет, так нельзя. Может, человек на чай просит, – возразил добродушно Абдураимов. – Он неожиданно для всех рванул своей страшной рукой золотую пуговицу с пуза начальника вокзала, выдрал с мясом и, протянув ошеломленному официанту, сказал: – На, сынок! Бери, не стесняйся. Честно заслужил.

Начальник вокзала, обретший дар речи, отступив на шаг, обиженно произнес:

– Рашид Мамедович, позвонили из порта, просят срочно прибыть на пятый пирс.

– Чего ж ты сразу не сказал, баранья башка! Теперь пуговицу пришивать обратно! – Абдураимов тяжело поднялся из-за столика.

Опять под лед лезть, – проворчал он. – Сами бы по дну потаскались. Ну их в клапан! Уволюсь. Пойду в детский сад инструктором по водолазному делу.

Абдураимов расплатился, не позволив Загинайло совать свои паршивые гроши, как он выразился. Они вышли наружу. Была уже ночь.

– Я в тебя верю! – громогласно провозгласил Абдураимов таким ничем не стесненным голосом, как будто труба взревела на всю площадь, во всеуслышанье. – Верю, верю! – повторял Абдураимов с грозной настойчивостью. – Верю в твою звезду! Ты упорный. Жмешь и жмешь. Крутишь, как кабестан. Цель у тебя. Серьезный ты. А я – что? Пузырь, кровавый шарик. Ни узбек, ни русский, от одного берега оторвался, к другому не пристал. На родине я никому не нужен. У них гашиш, глина, ножи, нищета. Скучно, скучно жить! Айда на Шкапина, я от скуки жену в шкафу повешу. Большую и лучшую часть своей единственной и неповторимой жизни я провожу под водой, во мраке и дерьме, плавающем кругом, как проклятый аллахом краб, вожусь с поврежденными кабелюками или затонувшие кастрюли на металлолом режу, утопленников за шиворот таскаю наверх. Неблагодарная работенка у нас, знаешь, лучше уж на твоих торпедах и минах дрыхнуть. Что с утопленника возьмешь? Серьгу из уха? Кольцо с пальца? Вчера тащил одного такого: то ли баба, то ли цыган, рыло разбухло, ни хрена не разберешь, такая харя, что у осьминога краше! Каждый день новенького вылавливаем. У нас там на плотике целая гора черепов. Вот сам увидишь! Сиди всю ночь и любуйся при луне! А другая, малая часть моей милой жизни, та, что на суше – то в барокамере, то накачаешься в порту и лежишь в глубоком мертвецком обмороке, бессознательный и бессмысленный, как свинцовая стелька. Вопиющее безобразие и аморализм. Так зачем же мне такая бесчувственная жизнь, скажи ты мне! Десять лет крабом по дну ползать!

– Да брось все и возвращайся к себе в Бухару-Самарканд или что там у тебя! – сказал ударившемуся в отчаянье водолазу Загинайло.

– Не могу, не могу! – качал черно-курчавой, непокрытой головой водолаз. – Не могу вернуться. У нас не так, как у вас. Ты не понимаешь. У нас кланы. Я отрезан от своего клана. Отрезан, отринут. Отщепенец. Не примут меня. Обратной дороги нет. У нас закон! – Абдураимов помолчал минуту, гордо поднял голову:

– Да я и не узбек, я – уйгур! Когда-нибудь, в другой раз, я тебе расскажу историю моего народа. Такое ты нигде не услышишь и не прочитаешь ни в одной книге. О Тимуре и великой пустыне Гоби, в которой по ночам поют духи песков. Это прекрасная и страшная история. Эх, ты! Ничего ты еще не слышал настоящего. Все, что ты слышал – шелуха, семечки! Говорю: вся мудрость на Востоке! Стой! А Коран ты читал? Ты и Корана не читал! Великую книгу! Так о чем с тобой растабаривать, с бестолочью! – Абдураимов умолк, как будто разочарованный во всех людях и утративший всякую на них надежду.

Они шли темным переулком. Мрачное здание в четыре этажа, окна горят. Баня. Старухи у входа продают веники.

– Может, ты помыться хочешь с дороги? – предложил Абдураимов. – Эта баня работает круглосуточно, без выходных. Бандитская баня. Дай на лапу и мойся хоть до смерти, плещись в бассейне с голыми девками. Так что могу устроить, у меня тут блат. Тут и массажист есть, турецкий массаж делает. Турок, парень свой в доску, все кости переломает. Там ты как в раю

помоешься! – уговаривал Абдураимов. – Упрямый ты осел! Чего упираешься! Там река райская течет, по-арабски Каусар. Вода ее белее снега и вкуснее меда. Течет в золотом желобе посреди бани, в мыльной, на четвертом этаже, а дно усыпано рубинами и жемчугами. Врать не буду. Сам видел, своими глазами!

Но Загинайло не поддался на эти головокружительные соблазны. От мытья он отказался наотрез.

На Обводном Абдураимов остановил машину. В порт. В машине он задремал, свесив голову на грудь. Скоро приехали. Шофер разбудил доблестного водолаза вопросом: где остановиться.

– У главных ворот, где ж еще? Безмозглый ты какой-то! – возмутился, мгновенно придя в себя, Абдураимов. – На! На орехи! – протянул он плату щедрой рукой, на эти деньги город кругом можно было б объехать.

Водолаз повел Загинайло к воротам порта. Заперты. На звонок высунулся в окошко черный берет блином на ухе. Военизированная охрана.

– А! Водолазная команда! – обрадовался сторож. – Отбой тревоги. Все уж уладили. Любимая кошка начальника порта пропала, думали – утонула, приказ водолазам – на дне искать. А кошечка нашлась, это она так, погулять по пристани вышла. Так что теперь – тишина. Иди, бригадир, спать. А этот у тебя что? Новенький?

– Какой тебе новенький! – возмущенно вскричал Абдураимов. – Он водолазное дело не хуже меня знает. Ему положено по службе.

Лодка затонет, так через торпедный аппарат в водолажном снаряжении выкарабкиваться. Он уж не раз спасал свою шкуру, все назубок знает, мне его, ученого-печеного, учить нечему. Он у меня на плотике спать будет.

– Желаю хорошо выспаться на мягкой постельке, – не без язвительности напутствовал сторож, пропуская их на территорию порта.

Абдураимов повел друга к месту обещанного ночлега. Шли плечо к плечу. Пирс протянулся на милю, на две, конца ему нет. Портовые фонари, безлюдье. Вода со льдом тяжело бульхается, ударяясь о бетонную стенку, лязг льдин, шорох. Взломанный штормом залив опять замерзает, издавая глубокий вздох или стон. Ночь мрачновата. Промозглая ночка. Ни души. Порт, как мертвый город. По краю пирса, тускло блестя, убегали вдаль два рельса, по которым ходит грузовой кран. Теперь этот гигант стоял на своих железных ногах неподвижно, скучая по ночной работе, но судно не пришло, застряв где-то, гребет по Балтике. Разгружать пока нечего. Кран-скелет, ветер свищет в железных ребрах.

– Гляди в оба! – предупредил водолаз. – Тут крыс несметно. Какая-то особая порода вывелась, мутанты, помесь с бульдогом. Громаднейшие! С бочку! Злые, как дьяволы! Шайтаны! Набросятся всей бандой – спасенья нет. Тут недавно эти зверюги сожрали грузчика вчистую, с кишками, только и осталось от несчастного человека, что – докерская каска да и ту внутри обгрызли, подкладку то есть, сальная потому что от головы. И что характерно: грузчик этот – единственный трезвенник в бригаде. У крыс, знаешь, свой вкус.

– Значит, нас эти твари не тронут, – высказал утешительное умозаключение Загинайло, зорко вглядываясь в тенистые места у стен пакгаузов, где, казалось, шевелились толстые, как тавровые балки, хвосты.

Наконец они достигли края пирса, тут он обрывался. Последний в шеренге фонарь светил тускло. Сирота-фонарь. Дальше – мрак, залив.

– Тут спуск, – указал водолаз. – Скользко, как по ледяной горке скатимся. Иди за мной след в след. Ни шагу в сторону, а то искупаешься и вытрезвителя не надо, – предупредил он Загинайло. – Пойдем, как Иисус Христос по морю ходил.

Абдураимов спустился по обледелым ступеням к воде и смело ступил на понтонную дорожку, которая представляла из себя довольно-таки простую конструкцию, а именно: соеди-

ненные доски, положенные поверху на плавучие барабаны. Этот непритязательный понтонный мостик был наведен через залив, простирался чуть не на милю, по нему водолазы и переправлялись на свой рабочий плотик, где в хибарке, построенной из так называемого плавуна, хранилось их водолазное имущество. Загинайло не без опаски ступил на эту в буквальном смысле слова скользкую дорожку: настил из одной обледенелой доски, которая шаталась туда-сюда, и брыкалась при каждом его шаге, а то и погружалась под воду; он уж промочил ноги в коротких флотских ботинках. Все равно что по качелям гулять над бездной. Абдураимов уверенно шагал впереди, возглавляя это шествие по водам, казалось, он даже не смотрел себе под ноги, он и с завязанными глазами, при полном отсутствии сознания, не дрогнув, ни разу не оступясь, благополучно добрался бы до своего, затерянного во мраке залива, плотика.

– Вот и дошлепали! – объявил водолаз, взбираясь на плот. – Лезь, не дрейфь, крепко, как скала! На четырех китах стоит. Берлога на месте, печь затопим, дров тут на три полярных зимовки!

Загинайло попал на плот легко и удивился его прочности. Плот был завален припасенным на зиму топливом, на нем и вокруг него громоздились торосы из досок и бревен, выловленных в заливе. Из этой дровяной горы торчала крыша хибары, похожая на железную кепку с плоским козырьком, как будто сейчас скажет, как хулиган: «Эй, ты! Закурить есть?» Пролезть к этому убежищу, не сломав себе шею, могли только опытные скалолазы. Но Загинайло вслед за Абдураимовым, цепляясь за доски, быстро достиг хибары. Дверь открывалась немудреным образом: ударом ноги. Замок отщелкивался и впускал хозяина. В хибаре пахло резиной. У стен навалено водолазное снаряжение – скафандры, шлемы, шланги, баллоны, компрессоры, насосы и прочее. Два топчана, печь-буржуйка. Позеленелый самовар громадного размера, который вмещал в своем медном чреве, должно быть, ведер десять. Вещь необычайная, фантастическая!

– А! Что я тебе говорил! У нас, брат, есть на что посмотреть. Видишь, какая диковина! – закричал радостно Абдураимов, довольный, что ему есть, чем похвастаться. – Мы это чудище на дне нашли. Ему лет сто, я думаю. Купеческий. Отчистили, отдраили, пустили в ход. На всю нашу водолазную бригаду хватает. Э, чего только на дне тут не валяется! – продолжал на повышенно-восторженных тонах Абдураимов. – Ты не поверишь, фургонами в антиквариат сдаем. Вот где – золотое дно! В прямом смысле. Миллионером можно стать.

Запросто. И стали б. Если б мои гаврики не пропивали все до копейки. Алкоголизм – наша беда. Горе да и только! Профессиональная болезнь водолазов, какая, как ты думаешь? – спросил у Загинайло, хмуро прищурясь, Абдураимов. – Кессонная болезнь? Э, нет! Это, это! – Абдураимов щелкнул себя пальцем по шее под подбородком. – Что, зябко? – заметил он, увидев, как Загинайло передернул своими широкими плечами. – Погоди, сейчас тут будет Ташкент. – Абдураимов, взяв топор, вышел наружу.

Вскоре он принес громадную охапку нарубленных досок. В буржуйке заревел огонь, жадно пожирая обрубки, которые совал ему в красный, ненасытный рот, сидя на корточках, Абдураимов.

– То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, – запел он устрашающим, слышным на все Балтийское море, громовым голосом. – Ты храпи, а я у огня подежурю, – сказал он Загинайло. – Потом тебя разбуду. Полночи я, полночи – ты. Так и спи в шинели, ватник еще бери, а хочешь – два рваных одеяла из чьей-то шерсти, может, вымершего мамонта, не знаю. Подушки тебе не надо, череп – это ведь кость, зачем ему подушка? Баллон под башку положи, он хоть и железный, а мягкий, с ржавчиной, ничего, не жестко, я сплю, не жалуясь. Там и вмятина от моей головы есть. Голову баловать нельзя, а то как вата будет, изнежится на перьях, мозг испортится, скиснет, не будет в нем мужской доблести. И так-то ума – икринка, а на пуху будешь спать – совсем круглым идиотом станешь. Как персы. Почитай Геродота.

Загинайло, не слушая болтовню водолаза, лег на топчане, ближе к печке, и сразу уснул. Ему снилось, или он сквозь сон чувствовал, как плотик кряхтит, покачивается, а под ним буль-

кает и хлопает что-то, ворочается какое-то гигантское морское чудовище, кит, не кит, левиафан, пасть разинул, из пасти потоком хлещет бурная, вихрастая вода, как в пробойну, с жутким грохотом, он один в отсеке. «Срочное погружение!» – слышит он команду. Лодка проваливается на глубину, сосущая пустота в сердце... Скорей – водолазный костюм! Шлем завинчен неплотно, и вода хлещет под шлем в щель, дышать нечем, задыхается, все... И лодка начинает валиться набок, опрокидывается, резкий толчок, удар о грунт...

Загинайло очнулся. Абдураимов, бригадир водолазов, мурманский орел, тряс его за плечо.

– На вахту, кочегар! – кричал он. – Держи огонь в топке. Я готов, сдох, глаза, как гири. Только вот головой на баллоне спать надоело.

Это тебе в новинку, а мне скучно. Булыган бы какой найти. Святослав камень себе под голову подкладывал. Суворов с него пример брал. Великий полководец, да. Но с Тимуром ему не сравниться. Это, знаешь, смешно. Рядом с Тимуром он просто букашка... – Так, бредя на эту тему мужского изголовья, которая к нему привязалась, будто какая-то особая водолазная мания, Абдураимов повалился на другой топчан и захрапел богатырским храпом.

Загинайло и не жалел, что вынужден бодрствовать. По крайней мере, кошмары не мучают. А кошмары мучили не только его, весь Северный флот страдал страхом и ужасом во время сна, в бессознательный период своей жизни, когда душа человека беззащитна перед демонами, которых насылают Арктика. Коллективная душа флота, от адмирала-командующего до матроса, погружаясь в сон, ревела от ужаса, как сирена. Как будто сторожевой корабль, схваченный неведомым течением, с неодолимой силой уносило в черные воды Ледовитого океана на верную гибель, и он кричал, кричал страшным криком... Загинайло, и покинув флот, остался частицей этой души, и власть общего кошмара угнетала его и тут, вдали от Севера. Он присел у раскрытой дверцы, закурил и смотрел на огонь. Он любил смотреть на огонь. «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем» – вспомнилось ему заученное в школе. Заготовленное водолазом топливо кончилось, Загинайло сжег последнюю щепку. Он взял топор и вышел. Ветер зверел, штормовой ветер, залив шевелился в темноте, на плот со всех сторон с лязгом напозвали громадные льдины, зеленоватые чудовища, но им было не преодолеть защитные сооружения из досок и бревен, эти неприступные бастионы; льдины-чудища ломались, треща, отступали, а вода толкала их сзади, гнал на приступ ветер, и некуда им было деться. Взломанный штормом лед шел сюда, на шторм плотика, со всего залива.

## 2

Едва рассвело, Загинайло покинул гостеприимный плотик. Небранный, в мятой шинели, голодный, и чаю не попил. Абдураимов раскочегарил свой самовар-десятиведерник и предлагал не пороть горячку, а погреть кишочки чайком, как человек, но пока этот меднопузый гигант, утешитель купцов и водолазов вскипел бы, это уж был бы не утренний чай, а вечерний. Бригада водолазов уже собралась в хибарке, когда он уходил. Шесть, не считая Абдураимова, тяжелоступы и горлопаны, краснорожие, грудь нараспашку, бочки в тельняшках, у них горело внутри, каждый излучал жар, как ходячая печь, поэтому буржуйка зря трудилась, она могла бы и отдохнуть от службы, теперь хибара обогревалась бы от тел самих водолазов. Вместе со своим бригадиром, который наилучшим образом выспался на топчане и выглядел бодрим и свежим, как вынырнувшая на поверхность глубоководная мина, они в семь луженых глоток подняли такой хай, что Загинайло, если бы и имел время, не мог бы задержаться тут больше ни минуты.

– Надо поторапливаться, – изрек он с суровым видом. – У меня медкомиссия.

– Ну и дуй к чертовой матери! Туда тебе и дорога! – от чистого сердца напутствовал его Абдураимов. – А на ночь не забудь вернуться. У тебя тут дом родной. В порт тебя пропустят, не пикнув. Только свою рожу покажи на паспорте. Мое слово железное. Закон.

Загинайло опять прогулялся по скользкой понтонной дорожке, от плотика – в порт, к пирсу. Конечно, днем этот путь пройти не то, что ночью. Раз плюнуть. Как акробат по жердочке. До ворот порта подкинул попутный грузовичок. Там автобус в город. Через полчаса он уже стоял около дома № 10 на улице Гоголя, или Малой Морской. А чего-то медлил. Черт бы побрал их, эти медицинские учреждения. Он решительно рванул дверь. Вестибюль. Ярко.

– Это я куда попал? – остановил он бегущую мимо него медсестру, тощую, как палка в очках. В руках у медсестры рискованно накренился поднос с пробирками.

– А куда надо? – в свою очередь спросила, прервав свой бег, худощавая медсестра, еще опаснее наклонив поднос с легко бьющимся грузом.

– Мне на медкомиссию, для устройства на работу в МВД. У меня направление, – подробно объяснил Загинайло.

– Безграмотный? Читать умеешь? – медсестра грубо и мрачно сверкнула на Загинайло сквозь очки, как будто перед ней стоял ее заклятый враг, и показала подносом: – Написано же по-русски! Читай, лопарь!

Загинайло прочитал на стене вестибюля, куда указывали, кроваво-красными буквами, то, что он сначала не заметил:

*Военно-окружная медицинская комиссия. Во дворе.*

– Полюбовался бы на себя в зеркало, а потом бы к врачам шел, – проворчала, уходя, медсестра с подносом.

Дверь из вестибюля во двор нашлась легко, она не закрывалась, подпертая кирпичом. Перед этой дверью, сбоку, у стены, имелось большое, прямоугольное зеркало. Загинайло взглянул на себя: да уж! Хорош! Медведь небритый. Лицо массивное, тяжелое, глаза сверлящие, как это говорят, глубоко посаженные, ненормально близко у переносицы, и еще эта его косая ухмылочка. Вид зверский. Все врачи разбегутся. Подмигнув своему зеркальному двойнику, Загинайло вышел на двор.

На дворе он увидел громадную толпу. Курили, горланили, шум, гам. Парни, безработная братия, демобилизованные солдаты и матросы. Среди моря мужских скул мелькали то там, то сям и женские щечки, приятно разнообразя эту грубую, орущую орду. К реву голосов примешивался шум падающей воды. Где-то рядом слышался бурный, клопочущий поток, он лопотал свое, словно участвуя в общем собрании толпящихся тут людей. Толпа стояла тесным кругом, в центре которого, посередине двора, зиял провал, асфальт в этом месте обрушился, из провала поднимался зловонный пар и смрад канализации, и внизу ревела, низвергаясь в бездну, подземная река, поток сточных вод, день и ночь текущий под городом. Вся эта орда ожидала очереди к врачам. Военно-окружная медкомиссия еще не начала свою работу. Загинайло с трудом попытался: где тут вход. Только десятый опрошенный услышал, что от него хотят узнать, ткнул указательным пальцем, едва не выбив глаз у своего товарища:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.